

БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ
ИМЕНИ И.Д. ПУТИЛИНА

М.Г. Чесовская, А.Е. Таранова

**ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО
В ИСТОРИИ РОССИИ:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ
И ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТЫ**

Монография

Белгород
Белгородский юридический институт МВД России
имени И.Д. Путилина
2017

УДК 172.1 : 93
ББК 67.3
Ч 51

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
Бел ЮИ МВД России
имени И.Д. Путилина

Ч 51 **Чесовская, М. Г.** Человек и государство в истории России: историо-
графический и философско-антропологический аспекты : монография /
М. Г. Чесовская, А. Е. Таранова. – Белгород : Бел ЮИ МВД России имени
И.Д. Путилина, 2017. – 100 с.

ISBN 978-5-91776-179-4

Рецензенты:

Готчина Л.В. – доктор юридических наук, кандидат социологических наук, доцент (Санкт-Петербургский университет МВД России);

Римский В.П. – доктор философских наук, профессор (Белгородский государственный институт искусств и культуры);

Пенионжек Е.В. – кандидат философских наук, доцент (Уральский юридический институт МВД России).

В монографии осуществлена реконструкция антропологических констант российского государства на различных исторических этапах сквозь призму междисциплинарного подхода.

Монография предназначена для курсантов, слушателей, адъюнктов, профессорско-преподавательского состава образовательных организаций МВД России.

УДК 172.1 : 93
ББК 67.3

ISBN 978-5-91776-179-4

© РИО Бел ЮИ МВД России
имени И.Д. Путилина, 2017

Оглавление

Введение	4
Глава 1. Антропологические исследования государства как новая область междисциплинарных исследований	7
§ 1. Философия государства как область исследований	7
§ 2. Философское познание государства: от образа к понятию	14
§ 3. Историческое развитие антропологии государства как области междисциплинарных исследований	21
§ 4. Российская государственность как предмет научного анализа в зарубежной исторической науке	31
Глава 2. Антропологические проблемы российского государства в историческом измерении	39
§ 1. Проблемы истории государства и общества России периода абсолютной монархии XVIII-XIX веков в исторической мысли США и Великобритании	39
§ 2. Антропологическое измерение российской государственности: концептуальная реконструкция базисных природно-антропологических констант	69
§ 3. «Модели» мультикультурализма и их приложение к условиям современной многонациональной России в контексте конструирования антропологического формата государства	82
Заключение	94
Библиографический список	96

Введение

Произошедший в России поворот к идее солидарного общества, основанной на реконструкции традиционных констант отечественной культуры, как один из ответов новейшим геополитическим вызовам интенсифицировал переосмотр господствующих концепций государства и государственности. Данная постановка проблемы требует переориентации исследовательского вектора в юридических, политических, государствоведческих науках от исходных посылок классического понимания идей государства и государственности к многогранному пониманию данных феноменов. При этом активно обсуждаются институциональная и этическая концепции, которые обладают как позитивными, так и негативными чертами. На основе их тщательного анализа В.И. Спиридонова вполне правомерно приходит к выводу, что обе концепции государства – институциональная и этическая – не являются самодостаточными¹. В этих условиях требуется широкое междисциплинарное исследование государства, учитывающее как его историческое, так и антропологическое измерение.

Вместе с тем длительное время антропологический подход в комплексных междисциплинарных исследованиях государства оставался без должного внимания и осмысления. В большинстве современных концепций государства сложился определенный доктринальный консенсус относительно его обязательных элементов: обособленной территории, публичной власти, народонаселения, суверенитета, внутренней и внешней политики. Однако, учитывая, что в современном геополитическом контексте все большую актуальность приобретает проблема: должны ли сохраняться у государств западного и в первую очередь не-западного мира те традиционные черты и принципы организации (антропологические константы), которые складывались, развивались, определяли специфику на протяжении всей культурной истории существования, значение антропологического осмысления государства становится очевидным.

Сложившийся геополитический социокультурный контекст с новой силой интенсифицирует методологическую «революцию» в науках о государстве, которая, наряду с обозначенными детерминантами, связана и с парадигмальными изменениями в социальной эпистемологии, ставящими принципиально новые проблемы, для осмысления которых необходимы адекватные методологические средства. Поэтому образ государства в реалиях постсовременности со свойственной ему онтологической неопределённостью и поливариантностью требует релевантной ему методологии. Новые способы воспроизводства государственности, новые механизмы социальной интеграции и социального контроля приводят к формированию способов научной репрезентации, существенно отличающихся от тех, которые коррелировали с цивилизационными практиками эпохи Модерна. В связи с этим в юридической литературе все чаще поднимается вопрос об

¹ Спиридонова В.И. Эволюция идеи государства в западной и российской социально-философской мысли. – Москва: ИФ РАН, 2008. С. 19.

антропологическом измерении государства как наиболее перспективной методологической междисциплинарной стратегии понимания его природы.

Формирование правового государства, концепция которого основана на идее социальной солидарности, предполагает учет потенциала самого человека, его прав, обязанностей и творческой деятельности по созиданию государства, в котором он живет. Сегодня становится все более очевидным, что люди сами создают общество, государство и свою историю. Специфика антропологического исследования государства и государственности (именно понятие «государственность» в современной юридической науке ассоциируется с «человеческим», культуросцентричным измерением государства) состоит в выявлении базовых социальных, природно-географических, этнокультурных констант, определивших формат государственной жизни того или иного народа. Признание уникальности государственности каждого народа тесно связано с утверждением самобытности его образа жизни, особенностей исторически сложившейся модели взаимодействия человека и государства.

Антропологический подход утверждает идею «глубокого онтологического единства государства и человека, уходящего в века»¹. Это, в свою очередь, дает основание для исследования человека в контексте его «государственной жизни», сквозь призму определения его роли как «творца» и места как «продукта» государства. Антропология государства включает три раздела: учение о происхождении государства в процессе духовно-материальной деятельности людей (государствогенез), морфологию государства и функционирование государства. Антропологический принцип означает прежде всего включенность человека в процесс становления и функционирования государства, выяснения смысла государственности в человеческом измерении.

Обращение к антропологической составляющей государства на основе анализа исторического пути, пройденного человечеством в рамках «государственного существования», позволяет «сегодня радикально переосмыслить роковую дилемму: "государство для человека или человек для государства"». В классической системе понимания данной проблемы жестко противопоставлялись две разнополярные парадигмы, одна из которых утверждала тотальное «поглощение» государством потенциала человека для обеспечения собственной жизнеспособности, другая акцентировала внимание на противоположности сущностей индивида и государства, их непреходящей враждебности. По мнению В.И. Спиридоновой, только «реалия «социального государства»» завершила процесс искания оснований для солидаризации и выработки объединительного проекта между индивидом и государством².

¹ Антропологическое измерение российского государства / отв. ред. В.Н. Шевченко. – Москва: ИФ РАН, 2009. С. 4.

² Спиридонова В.И. Эволюция идеи государства в западной и российской социально-философской мысли. – Москва: ИФ РАН, 2008. С. 11.

Практическое же воплощение идеи «солидарного государства», основанного на концепте «общего блага», как квинтэссенции «социального государства», «государства всеобщего благоденствия» находится в центре внимания современных ученых и представляет собой пока еще не завершенный проект.

Особую остроту этим вопросам придает глобализационный процесс, ставящий вопрос о роли государства в условиях глобализации, когда заходит речь об изменении форм государства и даже об отмирании государства (Ю. Хабермас), как минимум «о падении роли атрибутов государства-суверенитета, границ»¹. Это связано с тем, что в условиях глобализации происходят кардинальные изменения в государствообразующих системах, появляются такие высказывания, как «разрыв государствообразующей связи» (П. Бирнбаум), «закат национального государства» (А. Турен, М. Абелес), свидетельствующие о начале тотального кризиса государства.

В сложившихся условиях антропология государства как область междисциплинарных исследований призвана ответить на следующие вопросы: во-первых, о роли института государства в современном мировом сообществе, во-вторых, о реальном содержании и функции государства внутри каждой страны и, в-третьих, о роли государства в жизни и развитии человека, а также специфике взаимодействия государств в различные исторические эпохи, в частности в условиях современной глобализации.

¹ Тихомиров Ю.А. Государство: монография. – Москва: Норма: Инфра-М, 2015. С. 49.

Глава 1. Антропологические исследования государства как новая область междисциплинарных исследований

§ 1. Философия государства как область исследований

Изменение глобальной картины мира не могло не сказаться на интерпретации роли и функции государства. Если во внутривосточном отношении западноевропейская философско-политическая и государствоведческая мысль свела понимание государства к концепту учреждения, умаляя этическую задачу ответственности за преемственность по отношению к национальному прошлому и за конструирование проекта будущего, то в международном плане произошло «наступление» на государственный суверенитет, на связь нации с территорией и собственной культурой, на «укорененность» государства в территории и этносе. В условиях российской специфики подобные тенденции должны были иметь наиболее разрушительные результаты, так как основа его бытия базируется на скреплении единства территории и нации именно государством¹. Территориальный и антропологический факторы для нее традиционно являются решающими. Целостность как доминантная характеристика и важнейшая задача российской государственности предстает как ценность российского бытия.

Несмотря на то, что в последнее время к государству в России и мире перестали относиться как к носителю всех тех атрибутов, которые выводят его за пределы обыденного, рядового института, учреждения, оно продолжает формироваться и развиваться в согласии с идеями «общего блага», «солидарности». Эти понятия и в свете современных общемировых геополитических процессов остаются в центре внимания исследователей.

Актуальность обращения к проблемам философии государства в начале XXI века связана с положением государства в условиях современной глобализации. От его решения может зависеть жизнеспособность важнейшей концепции государства и государственности. На первый взгляд, юридические возможности в определении философии государства проигрывают социально-гуманитарному направлению науки. Однако именно сквозь призму правовой системы построение философии государства видится наиболее адекватным тем процессам и явлениям, которые не просто обозначились в социальной реальности, но и прочно вошли и закрепились в ней. Это касается развития самого человека, его мировоззрения, поведения в повседневной жизни. В полной мере это имеет отношение и к общественным изменениям, связанным прежде всего с поиском новой мета-теории государства взамен заметно ослабившему свое влияние постмодерну.

¹ Спиридонова В.И. Эволюция идеи государства в западной и российской социально-философской мысли. – Москва: ИФ РАН, 2008. С. 114.

Весьма современно звучат сегодня слова философа И.А. Ильина: «Для того чтобы право и государство действительно вступили на путь обновления и возрождения, необходимо верно осознать их природу, их цель, их основу и затем сделать осознанное предметом воли и жизненного действия... Одинаково важно понимание как их здоровья, так и недугов»¹. Движение по этому пути предполагает выработку соответствующих философских оснований государства.

Идея государства принадлежит новоевропейской истории, поскольку в Античности и Средние века рассуждали не о государстве, а о полисе, республике, империи, империях и городах. Правовая база в средневековом мире носила частный и персонифицированный характер. В те исторические эпохи не существовало идеи государства как совокупности публичных прав, поставленных обществом. Поэтому надо было пройти Ренессанс, Реформацию и Контрреформацию, чтобы идея государства обозначилась и оказала влияние на ментальные привычки, стала восприниматься как наличное бытие. Однако даже в новоевропейский период в Англии, где утилитаризм возобладал над привычками к абстрактной мысли и где лучше, чем в других странах, сохранялись остатки прошлого, реже рассуждали о государстве и гораздо чаще о короне, Парламенте и других институтах².

Интерес философии к многообразным государственным образованиям проявился еще в древности, то есть в древневосточной (китайской и индийской) и античной культурах. На протяжении многих веков, начиная с самого момента зарождения общества и деления его на классы, люди пытались создать идеальное государство, которое удовлетворяло бы всех. Попытки создания такого государства известны уже в трудах Платона и Аристотеля.

«Политика» Аристотеля посвящена осмыслению жизни полиса. Если несколько объединенных семей образуют селение, то несколько селений – полис (государство): «Тот, кто основал государство, был величайшим из благодетелей, ибо без закона человек худшее из животных, а закон своим существованием обязан государству ... цель государства воспитывать культурных людей, у которых ум аристократа соединяется с любовью к наукам и искусству»³. Такое соединение в своем высшем совершенстве существовало в Афинах времен Перикла, но не в широких массах населения, а среди зажиточных людей.

Со времен Н. Макиавелли и М. Лютера не прекращаются попытки обожествить государство. Важным моментом для утверждения нового понятия «государство» стало положение о «суверенности» Ж. Бодена. Для него суверенитет – это абстрактная и «постоянная власть республики», обеспечивающая соблюдение законов.

В Новое время в контексте перехода от теологического мировоззрения к юридическому утвердилось светское государство, неразрывно связанное с правом. В дальнейшем последовательно возникают философские учения о госу-

¹ Ильин И. О путях России / Русская идея: в кругу писателей и мыслителей русского зарубежья: в 2-х т. / сост. В.М. Пискунов. – Москва: Искусство, 1994. Т. 1. С. 71.

² История и методология юридической науки: учебник для вузов / И.Ю. Алексеева, Ю.А. Денисов, И.И. Еремина [и др.]. – Санкт-Петербург: ИВЭСЭП, 2014. С. 18-23.

³ Аристотель. Политика / Сочинения: в 4-х т. – Москва: Наука, 1983. Т. 4. С. 276.

дарстве Т. Гоббса, Дж. Локка, И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса. В частности, Т. Гоббс считал, что государство является созданием людей. Он предпочитал монархию другим формам правления, в которых есть одна верховная власть, не ограниченная юридическими правами других органов власти. Верховная власть, будь то один человек или собрание лиц, называется сувереном. Власть суверена, в системе Гоббса, неограниченна, поскольку он имеет право цензуры над всяким проявлением общественного мнения. Законы собственности должны быть полностью подчинены власти суверена.

Дж. Локк является наиболее удачливым из всех философов его времени, исследовавших философско-государствоведческую, политико-правовую проблематику. Основные положения его теории стали идеологической и методологической базой британской и французской конституций. В хорошо организованном правлении, считал Локк, законодательная и исполнительная власти отделены друг от друга. Философия государства Локка была «правильной» и полезной до промышленной революции, поскольку с этого времени все больше росла ее неспособность дать ответ на важнейшие проблемы, связанные с усиливающей дифференциацией, атомизацией и ростом отчуждения государства и гражданского общества¹.

Немецкий философ И. Кант считал, что «государство есть соединение некоего множества людей под господством права»². Каждый из этого множества руководствуется тем, что он не должен быть средством достижения цели, напротив, человек есть цель. Кант утверждал: «Лучшая форма правления из всех испытанных – республиканская, но и она не гарантирует от произвола и перерождения властей, если нет разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную»³. По мнению другого немецкого философа И. Фихте, «государство дает наиболее полно осуществить свое «я»; государство – это самое могучее проявление личности.

Наиболее разработанную философскую концепцию государства создал Г. Гегель, изложивший ее в «Философии истории» и «Философии права». Гегель видел в государстве наиболее полное воплощение саморазвивающейся идеи, называя государство «земным Богом». «Государство есть действительность нравственной идеи, – нравственный дух как явная, самой себе ясная, субстанциональная воля, которая мыслит и знает себя и выполняет то, что она знает и поскольку она это знает»⁴.

Он требует для государства такого же положения, какое Августин Блаженный и его католические предшественники требовали для церкви. Под государством он понимал исключительно правовое государство. Гегелевская идея государства представляет собой правовую действительность, в иерархической структуре которой государство само, будучи наиболее конкретным правом, предстает как правовое государство. Государство как нравственное целое в трактовке Геге-

¹ Локк Дж. Сочинения: в 3-х т. – Москва: Наука, 1988. Т. 3.

² Спиридонова В.И. Эволюция идеи государства в западной и российской социально-философской мысли. – Москва: ИФ ёРАН, 2008. С. 17.

³ Там же.

⁴ Гегель Г.В.Ф. Философия права. – Москва, 1990. С. 272.

ля – не агрегат атомизированных индивидов (в отличие от английской философско-правовой традиции) с их обособленными правами, а глубоко интегрированный, коллективный, саморазвивающийся организм¹.

Подобно тому, как у Платона и Аристотеля только полисная форма общности обеспечивает справедливость и право, у Гегеля свобода, право, справедливость действительны лишь в государстве, соответствующем идее «общего блага». Наличие идеи государства он констатирует лишь применительно к развитым европейским государствам, в которых реализована христианская идея свободы, достигнуты личная независимость и равенство всех перед законом, учреждены представительство и конституционное правление.

Идея государства, по Гегелю, проявляется тройко: 1) как непосредственная действительность в виде индивидуального государства; 2) в отношениях между государствами как внешнее государственное право; 3) во всемирной истории.

К. Маркс писал, что человек не есть «абстрактное, вне мира прозябающее существо. Человек это – человеческий мир, это – государство, это – общество»². Он отмечал также, что «абстракция государства как такового характерна лишь для нового времени, так как для нового времени характерна абстракция частной жизни»³.

К. Маркс делал ударение на признании государства такой силой, которая отвечает и за создание всеобщего интереса, за выполнение общих дел, вытекающих из природы любого общества: строительство путей сообщения, оросительных систем, защиту границ, сохранение существующей экономики и социальной структуры, поддержку порядка. Со временем такое понимание государства (признание классового, корпоративного и общечеловеческого начал в нем) оказывается сломанным, усиливается внимание на одной из его сторон, находящихся в спорном единстве.

Марксистское понимание природы государства было изложено Ф. Энгельсом, который писал, что государство возникло из-за того, что общинно-родовой строй «был подорван разделением труда и его последствиями – расколом общества на классы». По Ф. Энгельсу, государство «изобретается» людьми и оно призвано «следить за сохранением жизнеспособности общества». В частности, он пишет, что «государство никоим образом не представляет из себя силы извне навязанной обществу ... Государство есть продукт общества на известной ступени развития ... эта сила, происходящая из общества, но ставящая себя над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть часть государства»⁴.

К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали государство в первую очередь с политических, классовых позиций. Особое внимание привлекает мысль К. Маркса, высказанная о природе функций государства: «Деятельность государства, – писал К. Маркс, – охватывает два момента: и выполнение общих дел, вытекающих

¹ Гегель Г.В.Ф. Философия права. – Москва, 1990. С. 272.

² Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Москва: Наука, 1988. Т. 25. Ч. 1. С. 121.

³ Там же.

⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Указ. раб. С. 376.

из природы всякого общества, и специфическую функцию, вытекающую из противоположности между правительством и народными массами»¹. С этой точки зрения государство выступает как форма организации классового общества, являющейся по своему устройству многоаспектным социальным образованием. Оно появляется на определенном этапе исторического развития вместе с возникновением частной собственности, расслоением первобытного общества на классы и социальные группы с различными интересами, усложняющимся разделением труда и появившейся необходимостью регулирования отношений в обществе между социальными группами и гражданами, налаживанием властного, принудительного управления.

Вскрыв социально-классовую природу государства, К. Маркс и Ф. Энгельс заложили основы подлинной науки о государстве. Но, указывая на классовый характер государства, Маркс и Энгельс отмечали, что оно представляет собой и форму организации всего общества в целом. Подводя итог вышесказанному о двуединой общесоциальной и классовой природе сущности и социального назначения государства, можно предложить один из возможных «рабочих» вариантов его краткого общего определения. По мнению К. Маркса, государство есть организация классового господства и в будущем обществе оно должно отмереть.

Современное человеческое общество невозможно представить без многообразных государственных образований. Обращение к прошлому показывает, что каждая историческая эпоха имела свои государственные образования, получившие самые различные наименования. Наиболее рационально сконструированными и осмысленными являются государственные образования, возникшие в античной культуре.

В условиях глобализации в контексте постмодернистского мировоззрения сама идея права и концепция государственности подвергаются не просто пересмотру и переоценке. Именно государство сегодня в большей степени должно осознаваться как **ценностно-смысловая** система, а не как исключительно политико-правовое образование, существующее ради права и самого себя. С этой точки зрения государство не может стоять над человеком и над обществом, оно находится с ними рядом. В этом состоит ценность самого государства, но в этом кроется и возможность государства влиять на построение разнообразных ценностно-смысловых систем, в том числе и системы права, но не только как механической совокупности норм и известных постулатов справедливости, должностования и других, а **социокультурного кода**, зашифровавшего в себе многие смыслы бытия.

Философия государства зачастую отождествляется с набором инструментов воздействия на человека и общество. В этом смысле механизм государственного принуждения становится частью такой философии и едва ли не сакральным символом в социальной реальности. Вместе с тем существуют и другие неотъемлемые элементы или концепты философии государства. И прежде всего к ним следует отнести Конституцию как воплощение идеологии права и государства.

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Указ. раб. С. 178.

Конституция становится отправной точкой для развития такого мощного инструмента философии государства, как конституционализм.

В современной отечественной литературе имеются попытки выделения и рассмотрения такой важной составной части государства, как Конституция. Так, например, Е.А. Попов отмечает, что «в философии государства именно Конституция является «доктринальным документом», актуализирующим разнообразные смыслы бытия, преломляющиеся в традициях, обычаях, ритуалах, ценностях народа¹. По логике вещей только Конституции присущ характер своеобразной «книги бытия», стоящей в центре внимания как для юристов, так и для философов. Однако в этом интересе для исследователей акценты размещаются по-разному. Так, юридический контекст философии государства очерчивается положениями о демократии, конституционном строе, правовом статусе личности, органах государственной власти, местном самоуправлении. Понятно, что в данном случае философия государства «операционализируется» вполне реальными категориями, получающими юридическую интерпретацию и становящимися основой для формирования и развития философско-правовых концепций конституционализма, федерализма, унитаризма, парламентаризма и других. При этом Конституция понимается как нормативный правовой акт или основной закон, обладающий высшей юридической силой»².

Любые размышления о государстве и государственности должны учитывать ценностно-нормативный мир, в котором достигается гармония человека, общества, культуры и собственно государства. Как верно отмечает С.А. Капитонов, «основная обеспечиваемая государством ценность – это адекватная трансформация индивидуальных созидательных возможностей каждого человека в официальную поддержку его ожиданий от пребывания в пространстве государства»³.

Таким образом, философские исследования проблем государства имеют в Европе и России богатую, многовековую историю. Развитые концепции философии государства можно обнаружить в наследии целого ряда европейских мыслителей (Аристотель, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Г. Гегель, К. Маркс, Ю. Хабермас и др.) и русских исследователей (Н.Н. Алексеев, П.И. Новгородцев, Е.Н. Трубецкой). Особый философский подход к рассмотрению государства присущ русским философам второй половины XIX – XX вв. Так, Н.Н. Алексеевым разработано философское учение о государстве, где оно рассматривается как демотическое образование.

В XIX веке возникает философия мирового государства, которая во многом явилась реакцией на всемирно-историческое явление совокупности французской революции, завершившееся строительством революционной империи Наполеона и ее крушением. И. Кант определяет понятие мирового государства

¹ Попов Е.А. Понятие государства как ценностно-смысловой системы в философии права и философии государственности // Вопросы права и политики. 2013. № 2. С. 197.

² Там же.

³ Капитонов С.А. Конституция как средство обеспечения юридической соразмерности государственного устройства // Вестник Томского государственного университета. Право. 2012. № 3(5). С. 37.

прежде всего как союз свободных европейских государств. Г. Гегель фактически выводит понятие мирового государства в форме «абсолютной идеи мировой истории», практической идеи разумной организации власти. К. Маркс разрабатывает философию мировой революции, выдвигаемую в качестве фундаментального отрицания философии мирового государства.

В данном контексте Н.А. Бердяев следующим образом характеризует государство: «Бесспорно, государство имеет самую большую власть над человеческой жизнью, и оно всегда имеет тенденцию переходить установленные для него пределы. Это достаточно показывает, что государство представляет какую-то реальность. Государство не личность, не есть существо, не есть организм, не есть сущность (*essentia*), оно не имеет своего существования, существование всегда находится в людях, в людях находятся экзистенциальные центры. Между тем как гипноз власти непобедим. Государство есть, конечно, проекция, экстериоризация, объективация состояний самих людей. Власть государства оказывается неизбежной при известном состоянии людей, при известном характере их существования. Это есть состояние падшести. Между тем как люди вносят в строительство государства свои творческие инстинкты. ... Государство имеет функциональное значение в общественной жизни людей. В разные периоды роль государства бывает разная»¹.

Философия государства является новой областью философско-юридических исследований. Она призвана служить общим концептуальным и междисциплинарным основанием, обеспечивающим целостное восприятие и понимание феномена государства. Формирование философии государства практически совпало по времени с появлением такой самостоятельной отрасли юридической науки и учебной дисциплины, как государствоведение.

Определить понятие того или иного философского или государственного явления – означает раскрыть его существенные признаки (характеристики). Дать единую дефиницию философии государства не менее сложно, чем определить такие феномены, как философия и государство.

Философия государства характеризуется следующими чертами:

- 1) является областью философских и государствоведческих исследований, поскольку находится на стыке философии и государствоведения; опирается на методологический и категориальный аппарат данных областей познания;
- 2) дает возможность взглянуть на государственные явления в философском ракурсе, глубже понять сущностные, гносеологические и аксиологические стороны того или иного феномена государственной жизни;
- 3) позволяет осмыслить и оценить те или иные явления государственной действительности с позиций общефилософских категорий – сущность и явление, общее и частное, качество и количество.

В философии государства как специфической области междисциплинарных исследований в качестве важных отраслей и своеобразных оснований выступают онтология, гносеология, аксиология и антропология государства. При этом духовное освоение феномена государства начинается с его онтологического

¹ Бердяев Н.А. Царство Духа и Царство Кесаря. – Москва: Республика, 1995. С. 16.

признания как культурно-исторического феномена. Следующим этапом его духовного освоения, познания является выделение гносеологических проблем, чувственного и рационального познания государства. В качестве третьего этапа можно выделить аксиологическое освоение государства. На четвертом этапе происходит выделение антропологии государства. На пятом этапе осуществляется интеграция онтологического, гносеологического, аксиологического и антропологического освоения государства.

В современном мире под воздействием глобализации происходит изменения форм государственности, в частности подрывается такой принцип, как суверенитет. Происходит также интернационализация, гносеологизация, аксиологизация и праксиологизация, которые тесно связаны с онтологией государства.

Философия государства рассматривается как система связей между философией и государством как социально-политическим феноменом. Современная философия позволяет представить эту систему более конкретно в мышлении, чем это было сделано в предыдущие культурно-исторические эпохи. Философия государства должна выявить фундаментальные основания государства, в качестве которых выступают: онтологические, гносеологические, аксиологические, социокультурные, природно-антропологические. Все это вводит в сферу философии государства целый ряд проблем и других философских дисциплин: этики, социальной философии, философии политики, антропологии, обеспечивая целостное восприятие и понимание этого социокультурного феномена. Государство «погружено» в культуру, в зависимости от ее специфики и исторического развития происходит его формирование и развитие.

Таким образом, философия государства призвана не только оценивать существующую государственную реальность, но и выдвигать предложения по его совершенствованию в духе вышеуказанных идей и предлагать соответствующие методологические и аксиологические инструменты конструирования «государственного бытия». Для решения данных проблем наряду с современным юридическим рассмотрением государства, которое также начинает интегрировать для целостного понимания данного феномена исторический, социологический, культурологический подходы, особое место занимает новое направление междисциплинарных государствоведческих исследований – антропология государства.

§ 2. Философское познание государства: от образа к понятию

В условиях современной глобализации происходит возрастание исследовательского интереса к таким сложным и многогранным понятиям, как «образ государства» и «государство». В первую очередь отметим, что образы, представления и символы играют существенную роль не только внутри самого государства, но и во внешней политике. И это вполне понятно, поскольку идея государства выражается в процессе познания сначала в мифолого-религиозной образной и символической формах, а затем происходит ее переход от образа к

понятию. Поэтому первый шаг на пути познания государства – образное представление о нем как стоящим над людьми, управляющим и властвующим над ними. На этом этапе познания государства символические и метафорические смыслы играют активную роль в философском рассуждении, которое строится ещё по логике символа и метафоры, а не понятия. Образы государства в ходе истории формировались в сознании людей параллельно генезису и эволюции самого государства, играя важную роль в мышлении и поведении людей.

Наряду с усложнением социокультурных форм человеческого бытия в ходе истории осуществлялось совершенствование средств познания мира, включая государство. При этом оформились основные виды и формы познания государства: обыденное, религиозно-мифологическое, художественное (искусство), научное и философское. Образ государства получал в различных формах общественного сознания свое специфическое выражение с учетом их образно-рациональной специфики. Уже в древности «образное мышление выполняет ту самую познавательную функцию, что и понятие»¹. Оно дает человеку определенные духовные средства для ориентации в мире, осуществления различных форм жизнедеятельности.

Формирование образа государства в различных культурно-исторических условиях происходило весьма своеобразно и зависело от социокультурного уровня развития познающего субъекта. Поэтому для экспликации образа государства должны быть обозначены соответствующие параметры как природной, так и социальной реальности. Государственная реальность как область социальной реальности формируется и познается значительно позже, нежели природная реальность. В связи с этим довольно часто интеллектуальные наработки при изучении последней (например, механическое понимание природы) используются для понимания государственной реальности.

Отметим, что образы государства не представляли собой типичных гносеологических образов или более или менее адекватных отражений государственно-правовой реальности. Они вполне могли оказаться чрезвычайными символами, субъективными искажениями этой реальности. Изменяясь в ходе истории, эти образы приобретали у различных народов не только рациональные очертания, но и новые мистико-иррациональные черты. Все это вело к тому, что длительное время в деятельности людей преобладали иррационально-хаотический, эмоционально-оценочный и субъективно-прагматический подходы.

Как справедливо отмечает Л.С. Мамут, «образ государства был и остается значимым феноменом как в индивидуальном, так и в массовом политическом сознании. Этот феномен должен рассматриваться в разумных измерениях и пространственно-временных координатах»². Сам процесс становления и развития человека в государственной сфере является, по сути дела, разворачиванием

¹ Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. - 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Восточная литература, 1998. С. 23.

² Мамут Л.С. Образ государства как алгоритм политического поведения // Общественные науки и современность. 1998. № 6. С. 85.

и утверждением природы человека. И можно вполне определенно утверждать, что образ человека неразрывно связан с образом государства и наоборот.

Государство как социокультурный феномен воспринимается людьми первоначально в виде различных образов, что обусловлено уровнем его развития и особенностями отражения в общественном сознании. Конструировать образ государства исследователи начинают с вопроса: «Что такое государство?». При этом восприятие государства не только отдельными людьми и социальными группами, но и человечеством в целом в своей оценке, во-первых, является объективным, поскольку они хотят познать его реальные признаки. Во-вторых, они смотрят на мир как субъекты через призму уже имеющихся образов, символов и понятий. По сути дела, это восприятие государства является всегда субъектно-объектным. Кроме того, проблема истины решается в конечном счете как соотношение абсолютной и относительной истины.

Наряду с чувственно-образными складываются и символические представления о государстве. Символ всегда скрывает какую-то тайну, раскрыть которую можно лишь обладая определенными знаниями. Символ – это всегда знак, образ, условно принимаемый за какое-то изображение. Он является образно-символической сущностной стороной означаемого и в нем присутствуют две составляющие: образность и знаковость. Образ и символ длительное время выступали как главные средства постижения истины государства, представляя собой идеальные конструкции философов и юристов. Они являлись важнейшими составляющими социальной картины мира того или иного народа.

Важную роль в духовном освоении государства играет его оценивание, которое происходит всегда и непременно, поскольку оно практически никому не безразлично. Оценка нормативно конституируется в образах, представленных такими формами общественного сознания, как мифология, религия, искусство. В частности, художественное освоение государства носит образный характер. Здесь каждый образ выступает репрезентантом реального государства. В образе наблюдается слитность эмоций, переживаний и ментальности субъекта. Образное восприятие государства, являясь оценочным компонентом, выступает в виде совокупности объективных и субъективных моментов. Формы образов и оценок, как и знаний, весьма многообразны. Они представлены на образно-символическом (религия, мифология и т.д.) и понятийном уровнях познания.

Если у древних египтян государство персонифицировалось в царе, то в древнеиндийских представлениях имелось нечто похожее на царство, а политическое целое фиксировалось сознанием в виде материальной, вещественно осязаемой структуры, соотносящейся с телесным образом царя.

В Античности имелось несколько подходов к трактовке понятия «образ государства». Учение Платона о государстве в общих чертах впервые изложено им в диалогах «Политик» и «Государство». У Аристотеля и Цицерона видение полиса-государства осуществляется в образе полисно организованного и действующего народа. Таким образом, государство изображалось как совокупность людей, объединяемых политическим общением.

Аристотель, описывая государство как наглядно данный объект, свои впечатления о его конфигурации резюмировал в формуле: государство есть

круг, союз составляющих его граждан. И это при том, что он прекрасно гораздо лучше, чем его современники, знал о наличии в государстве разных общественных групп, институтов публичной власти, дифференциации политических ролей – властвующие и подвластные, норм и процедур политической жизни и т.д. Однако аристотелевский взгляд на общий облик государства выделяет именно признак целостности, союзности, объемлющей всех без исключения членов независимо от политической роли, которую они играют. Восприятие общего облика государства как единого сообщества прочно закрепилось в европейском менталитете.

В аристотелевской традиции государство как целое политическое сообщество людей вбирает в себя также правителей, а заодно бюрократию, полицию, армию и пр., в противоположном, персонифицированном мысленном облике государства, напротив, правители и иже с ними поглощают политическое целое, обретая многие его основные параметры.

Во времена империи в античном Риме чертами и свойствами государственности стали наделяться императоры, которые олицетворяли римский народ, а их благо отождествлялось с его благом. Здесь правитель стал выразителем всеобъемлющего, все соединяющего и всем владеющего высшего принципа.

Характеризуя изменения, происшедшие в процессе перехода от античной «народной религии» к христианству, Г. Гегель писал: «Образ государства как результата своей деятельности исчез из сердца гражданина... незначительному числу граждан было поручено управление государственной машиной, и эти граждане служили только отдельными шестеренками, получая значение только от своего сочетания с другими»¹. В этих условиях целостность нравственной жизни народа распалась, индивиды углубились в свою частную жизнь, отчужденную от государства.

Вместе с тем общий этатистский дух, свойственный греческой политической мысли, был перенесен в средневековую философскую традицию, которая в целом его усилила.

Исключение составляет идеология раннего христианства, противоположная античному этатизму. Оно провозглашало разрыв личности, посвятившей себя исканиям в духовной сфере, с «земным царством». Идеология расцвета Средневековья, напротив, меняет отношение к государству, усматривая в нем божественное установление в земной жизни и воспринимая его как высшую ценность. Главная цель государства – объединительная, призванная обеспечить централизованную жизнь раздробленного европейского феодального общества².

В отличие от Западной Европы на Востоке, в частности в Китае, сложился образ государства как единой семьи. В сознание древних китайцев глубоко проник образ государства как одной разросшейся семьи. Здесь метафора семьи

¹ Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. – Москва, 1970. Т. 1. С. 188.

² Спиридонова В.И. Эволюция идеи государства в западной и российской социально-философской мысли. – Москва: ИФ РАН, 2008. С. 13-16.

сохраняет портрет специфической по родственному организованной коллективности.

В эпоху Возрождения происходит зарождение таких дуалистических принципов государства, как эгоизм и альтруизм. Сначала Л. Валла, а затем и другие мыслители обосновывали неискоренимость эгоизма человеческой природы как стремление к самосохранению. Затем Н. Макиавелли в своей книге «Государь» выступил с апологией эгоизма, утверждая, что человек является глубоко эгоистическим существом. По его мнению, эгоизм является определяющим стимулом человеческой деятельности и связан с приобретением собственности и имущества. Способность к эгоистической деятельности Макиавелли назвал высшей доблестью, присущей всем людям. Она, по сути, является движущей силой истории и именно благодаря эгоистической природе человека возникает государство. И именно государство, по мнению Н. Макиавелли, поставившее жесткий предел эгоистическим устремлениям отдельных людей, способно спасти их от самоуничтожения. Девальвацию индивидуалистического эгоизма Н. Макиавелли старается компенсировать эгоизмом социальным, для выражения которого и вводится понятие большой цели.

В разные исторические эпохи эта проблема приобретала специфические черты, но при этом на передний план всегда выходил вопрос об эгоизме и эгоцентризме человека. В зависимости от способов его трактовки осуществлялось решение проблемы государства и его природы. С особой остротой проблема соотношения эгоизма и альтруизма в природе человека и, соответственно, в природе государства проявилась в западноевропейской культуре Нового времени.

Реальным основополагающим и созидющим фактором, формирующим многообразные формы государственности, рассматривается сам человек, обладающий социально-биологической природой. Понятия «государство» и «человек» впервые в истории философской и юридической мысли исследуются не по отдельности, а во взаимосвязи друг с другом. Так, например, антропологические основания государствоведческих концепций Т. Гоббса, Дж. Локка и Ж.Ж. Руссо предполагали наличие человека как эгоиста.

Первый систематический опыт построения антропологии государства принадлежит Т. Гоббсу. Он выразил кредо исследований антропологических основ государства, подчеркнув, что «следует правильно понять, какова человеческая природа, что делает ее пригодной или непригодной для создания государства и каким способом должны объединяться люди, желающие жить вместе»¹.

Вместе с тем в секуляризирующемся новоевропейском обществе, базирующемся на научных знаниях, в частности на механике, появляется образ государства как своеобразной машины, происходит смещение акцентов в понимании государства с религиозного на светское. «Для Гоббса все это – механизм, организм и произведенное искусство – все ещё содержится в понятии машины как продукта высшей творческой способности человека»². При этом государство превращается им в нейтральный технический инструмент. Здесь чувствен-

¹ Гоббс Т. Сочинения: в 2 т. – Москва, 1989. Т. 1. С. 278.

² Там же. С. 162.

но-образное синкретичное представление о государстве выступает в виде Левиафана как единства мифического существа, животного и машины, которое создано людьми. По сути, Т. Гоббс отделил государство не только от монарха, но и от народа.

Характеризуя взгляды английского философа и юриста, К. Шмитт отмечает, что Т. Гоббс включает в образ государства Левиафана «черты грандиозной машины. Но именно поэтому его понятие государства становится существенным фактором в великом четырехвековом процессе, в ходе которого с помощью технических идей произошла всеобщая «нейтрализация» и, в частности, государство превратилось в нейтральный технический инструмент»¹.

Гоббсовское государство – «необходимое зло», которое нужно по возможности минимизировать, на что и направлена теория продолжателя данной традиции Дж. Локка.

В отличие от Гоббса, мысль Локка сконцентрирована главным образом на решении проблемы рационального конструирования социальных отношений. По сравнению с Гоббсом у него существенно сужается поле государственности. Государство не равномасштабно обществу, не замещает его. В то же время государство у него – это не объединительный союз Античности, не самодовлеющее состояние, учрежденное ради благой жизни (как у Аристотеля), а «третья сила», призванная регулировать общественную жизнь. У Дж. Локка общество начинает свое существование раньше, чем государство, по природе, а не по соглашению. Призвание государства – устранить те недостатки, которые существовали в естественном состоянии, а это означает, что государство подчинено обществу и главная его задача – защита, охрана общества, прирожденных прав человека. В такой постановке вопроса изначально заложена логика «минимизации» государства².

Вместе с тем если «договорные теории» государства частично признавали за ним нравственную ценность и видели в нем средство спасения в условиях «борьбы всех против всех» и если марксизм все же связывал негативную оценку государства с конкретной исторически преходящей формацией – буржуазным обществом, то крайние либеральные теории конца XIX – начала XX веков (анархизм, бланкизм) абсолютизировали негативную природу всякого государства.

Таким образом, в общественном сознании западноевропейского общества имела место эволюция образа государства в направлении его все большей рационализации, что в последующем вело к выработке рационально-понятийного осмысления феномена государства. Это проявляется в восприятии государства горожанами под влиянием секуляризации их общественной жизни.

Специфические черты образа государства детерминируются как социокультурными факторами, так и тенденциями исторической динамики развития государства. Образ государства претерпевает изменения в связи с изменением

¹ Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса / пер. с нем. Д.В. Кузницына. – Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2006. С. 166.

² Спиридонова В.И. Эволюция идеи государства в западной и российской социально-философской мысли. – Москва: ИФ РАН, 2008. С. 23.

исторического типа культуры: 1) мифологической, 2) религиозной и 3) секулярной. При этом становящаяся в новое время секулярная культура на первых этапах своего развития не исключала полностью образов государства предшествующих культур. В частности, она включала в свое содержание образы государства, задаваемые архетипами мифологического мировоззрения и религиозным мировоззрением.

Происходящая в науке о государстве методологическая революция, связанная с парадигмальными изменениями в социальной эпистемологии, ставит принципиально новые проблемы, для осмысления которых необходимы адекватные методологические средства. Поэтому образ государства в реалиях постсовременности со свойственной ему онтологической неопределённостью и поливариантностью требует релевантной ему методологии. Новые способы воспроизводства государственности, новые механизмы социальной интеграции и социального контроля приводят к формированию способов научной репрезентации, существенно отличающихся от тех, которые коррелировали с цивилизационными практиками эпохи Модерна.

Образы государства являются многослойными образованиями: в них наряду с теоретическими постулатами ассимилируются народные представления здравого смысла, религиозно-мифологические образы и представления, а также тот социокультурный фон, в контексте которого они формировались. Все это свидетельствует о том, что понятие «образ государства» обладает многозначностью содержания и не всегда соответствует реальному положению дел и объективным характеристикам государства.

Понятие «образ государства» осмысливается в XXI веке преимущественно с философских, юридических, политологических и социально-психологических позиций. Оно помогает человеку выразить непознанное в узнаваемое при помощи символов и ассоциаций, которые уже выражают имеющееся знание или формируют новое знание. Вместе с тем важно отметить, что понятие «образ государства» не получил целостной теоретико-концептуальной разработки.

Как верно пишет А.В. Федякин, «при выработке определения понятия «образ государства» представляется целесообразным придерживаться комплексного подхода, основанного на междисциплинарном синтезе и взаимодополняемости научных методов»¹. Действительно, такой подход к пониманию образа государства способствует его рассмотрению как динамически развивающегося феномена, обладающего культурно-исторической спецификой.

Таким образом, в ходе своего становления и развития философия и юридическая наука превращают наглядный образ государства в научное понятие. Художественность образов людей, государства в социально-гуманитарных науках, включая юридическую науку, принципиально отлична – как подлинность от вымысла – от наглядных образов и фантазий, которые являются средством познания в религиозно-мифологических сферах и в искусстве. Образ гос-

¹ Федякин А.В. Образ государства: вопросы категориального осмысления: материалы XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 12-15 апреля 2005 г.). – Москва: МГУ, 2005. Т. 5. С. 205.

ударства, несмотря на то, что он представляет собой реальность иллюзорного характера, все-таки неразрывно связан с объектом, отражением которого он является. Целостный образ государства представлен в различных измерениях. Каждая историческая эпоха имела свое видение государства и соответствующий его образ. Все это свидетельствует о том, что в познании государства происходит движение от чувственно-образного мышления к понятийному научно-му мышлению, имеет место движение мысли от образа к понятию.

§ 3. Историческое развитие антропологии государства как области междисциплинарных исследований

Любое государство жизнеспособно только тогда, когда оно способно воспроизводить себя и прежде всего воспроизводить само население¹. Как показывает история, государство создают реальные люди и оно функционирует и развивается благодаря их многообразной деятельности. В связи с этим отечественные и зарубежные исследователи, включая юристов, все чаще обращают внимание на современные формы взаимосвязи антропологии и государства. И особая роль в решении этих вопросов принадлежит антропологии государства как научной дисциплине.

В истории антропологии государства можно выделить три основных этапа: 1) этнография государства, 2) этнология государства и 3) собственно антропология государства. Первый этап выступает своеобразной протоантропологией государства, подготавливающей сущностное рассмотрение государства с точки зрения социально-биологической природы человека. На этом этапе происходит становление зачатков антропологии государства. Он тесно связан с описанием народов, проживающих в различных европейских государствах, и носит своеобразный подготовительный характер, со всеми его достоинствами и недостатками. В частности, имеются описания народов Европы, Северной Америки и России, а также других государств мира.

Обобщая имеющиеся результаты исследований становления государства, антропология призвана дать адекватное объяснение механизма его формирования. Поэтому необходимо выделить ряд научных проблем, которые составляют стержень данной научной дисциплины.

В истории государств и их описаний наблюдается движение от этнографии государства к этнологии государства. Что же представляет собой движение от этнографии и этнологии государства к антропологии государства? Как известно, вопрос об активном использовании в науке о государстве и праве данных других наук, в частности этнографии, ставился неоднократно как юристами, так и самими этнографами. При этом речь шла в основном о создании меж-

¹ Антропологическое измерение российского государства / отв. ред. В.Н. Шевченко. – Москва: ИФ РАН, 2009. С. 46.

дисциплинарной области исследования, получившей название «этнография государства» и «нормативная этнология».

Этнографический подход зарождается в Западной Европе. В частности, уже в XVI в. М. Монтень ссылается на записки путешественников, в которых содержатся свидетельства о разнообразии обычаев и традиций народов географически отдаленных стран. Этнография, согласно идеям Просвещения, должна выявить многообразие культур и то общечеловеческое, которое кроется за этим многообразием. При этом этнографическими исследованиями начинают заниматься многие ученые западноевропейских стран на основе материалов путешественников.

Этнография и этнология как специфические области научного знания возникли на рубеже XVIII-XIX вв. Они рассматривались как науки, изучающие народы, проживавшие как внутри, так и вне сложившихся государств. Если во Франции широкое распространение для обозначения народов получил термин «этнология», то в Германии активно использовался термин «этнография», буквально означающий «народописание»¹. При этом применительно к неисторическим народам, культура которых в сравнении с европейской была примитивной, считалось достаточным лишь ее научное описание.

Для многонационального российского государства, формировавшегося в XV-XVI вв., этнографические исследования приобрели научный характер лишь в XVIII веке. Широкое использование термина «этнография» было связано с тем, что здесь значительную роль в формировании научного знания играли еще с петровских времен заграничные ученые, бывшие родом из германо-языческих стран. Именно поэтому термин «этнография» рассматривался всегда как полноценная наука о народах. При этом народы не делились на исторические и неисторические.

В истории государств и их описаний наблюдается движение от этнографии государства к антропологии государства. В частности, в 1780 г. вышла работа «О государстве российском и населяющих его народах». Затем в 1799 г. была опубликована работа в четырех частях, подготовленная Иоганном Готтлибом Георги под названием «Описание всехъ обитающихъ въ российскомъ государстве народовъ». В ней излагались описания народов, обитающих в России, их жизненных обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав. Отмечалось также, что нет ни одного на земном шаре государства, которое вмещало бы в себя такое великое множество различных народов, как в Российской державе. Аналогические работы появлялись в России и позже. И даже с появлением самой антропологии государства эти исследования продолжались, хотя и не носили такой широкоохватывающий характер даже в рамках отдельной страны.

Одним из основателей российской этнографии был Н.Н. Харузин, считавший, что этнография «изучает эмбриологию государства». Он писал, что «предметом этнографии не может служить изучение ни государственных орга-

¹ Более подробно об этом см.: Титова Т.А., Козлов В.Е., Фролова Е.В. Этнология и социальная антропология: краткий курс лекций. – Казань: К(П)ФУ, 2013. С. 4-6.

низмов вообще, ни развития государственных форм у цивилизованных народностей древности или современности. Задача этнографа гораздо скромнее, он изучает эмбриологию государства на основании этнографических данных; он старается проследить элементы и основы, из которых впоследствии эволюционировали те государственные организмы, которые еще в своих сравнительно неразвитых формах освещаются первыми лучами истории в Европе, Азии и на берегах Нила»¹. К сожалению, следует признать, что его работы до сих пор не оценены должным образом ни в отечественной, ни в западной антропологической и юридической науке.

Функционирование и развитие российской и советской этнографии осуществлялось на основе предшествующего базиса, созданного классической этнографией. Как справедливо отмечает В.А. Данилейко, «помимо решения сугубо научных проблем, этнографическая наука, не зря характеризующаяся как государственная, стояла в авангарде решения задач ускоренной интеграции коренных народов в экономическую, социальную и политическую структуру СССР»². Действительно, эта постановка вопроса резко отличается от состояния правосудия и судопроизводства в обычном первобытном обществе.

Значительный вклад в учение о взаимодействии этноса и государства внес Л.Н. Гумилев, писавший, что «создание государства и падение его – такие же объекты этнографического исследования, как и свадебные обряды и ритуальные церемонии»³. Исходя из принципа системности, он отмечал: «мы имеем право рассматривать этнос как систему социальных и природных единиц с присущими им элементами»⁴. Его учение о роли этносов в развитии государства получило новые импульсы в работах П.Ф. Лунгу, который писал, что «процесс жизнедеятельности современных народов и государств характеризуется тем, что на него влияют две противоположные тенденции – политико-экономической интеграции и этнической дифференциации, обеспечивающие гармоничное развитие мира лишь при их относительном равновесии»⁵.

Таким образом, этнографический подход к рассмотрению государства в контексте этнологии государства позволяет, во-первых, раскрыть содержание государства с точки зрения этносоциальной составляющей, во-вторых, показать значение антропологических характеристик для различных путей формирования государства. Иными словами, раскрытие природы и сущности государства становится возможным на основе антропологического подхода. В этих услови-

¹ Харузин Н. Этнография: лекции, читанные в Императорском московском университете. Выпуск III. Собственность и первобытное государство. – Санкт-Петербург, 1903. С. 194.

² Данилейко В.А. Государственная этнография, или отражение процесса социалистического строительства на приенисейском Севере, в работах этнографов конца 1930-х гг. // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2011. Выпуск № 3. Т. 21. С. 122.

³ Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Москва: Мишель и К, 1994. С. 56.

⁴ Там же. С. 103.

⁵ Лунгу П.Ф. Государство и этнос / Теории государства и права. – Москва: Наука, 1996. С. 393.

ях одной из центральных проблем юридической антропологии становится выявление антропологических предпосылок государствоведческой теории.

Современное государствоведение вплотную подошло к концептуальной разработке проблематики человека и его государственной деятельности. Реально это выразилось в становлении такой междисциплинарной области знания, как антропология государства. В западной и отечественной литературе все чаще начинает употребляться понятие «антропология государства» при характеристике крупных государственных образований. Так, например, профессор Калифорнийского университета Кевин О'Брайен пишет о людях, входящих в государство, и отношениях между ними следующее: «подобно многим другим, китайское государство является не столько монолитом, сколько смесью крайне различных субъектов, мнения которых имеют противоположные интересы и многообразную идентичность». Поэтому, по его мнению, «необходима разработка «антропологии государства», включающей изучение государственной власти, начиная с его самых низших звеньев, предполагающей многообразие отношений между различными ее уровнями, требующей сопоставления отношений между государством и обществом на локальном и региональном уровне с отношениями в центре»¹. В то же время важно учитывать, что антропология государства – это феномен эпохи современной глобализации.

В современной литературе существуют различные точки зрения по поводу времени её возникновения и места в структуре антропологии. Так, например, С.В. Соколовский, рассматривая эту дисциплину в контексте современной российской антропологии, в развитии ее структуры выделяет четыре волны, каждая из которых обладает своими особенностями. Для современной четвертой волны, по его мнению, характерно институциональное оформление «таких новых для России направлений, как антропология организаций, государственного управления и администрирования...»². Он также отмечает, что «антропология государства и государственного управления ... в случае российской антропологии пока не представляет собой единой области исследований и распадается на разрозненные и разноплановые попытки концептуализации этой проблематики средствами исторической антропологии ...»³. В то же время, по его мнению, «попытки представить антропологию государства как антропологию национальной политики ... вряд ли можно признать оправданными, поскольку они не добавляют ничего нового ни к уже существующему аппарату истории национальной политики, ни к концепциям социологии национальных отношений»⁴. С этим негативным высказыванием относительно антропологии государства вряд ли можно согласиться, поскольку ее формирование было обусловлено теми острыми проблемами, которые без нее не могут быть успешно решены.

¹ Цит. по: Восточная и Южная Азия в современном мире: внутренние и внешние факторы развития: сборник реф. / отв. ред. А.И. Фурсов. – Москва: ИНИОН РАН, 2010. С. 100.

² Соколовский С.В. Дисциплинарная структура российской антропологии и развитие новых направлений / Феномен междисциплинарности в отечественной этнологии / отв. ред. и сост. Г.А. Комарова. – Москва: ИЭА РАН, 20016. С. 32.

³ Там же. С. 44.

⁴ Там же.

Государствоведение как наука о государстве длительное время формировалась по образцу других, прежде всего естественных, наук, поэтому можно говорить об антропологической выхолощенности содержания государства. В частности, об этом свидетельствуют попытки сведения государства к отдельным его проявлениям: союзу, ассоциации граждан как людей свободных и равных, государственной машине, монарху как обладателю суверенитета, профессиональному аппарату управления, установлению, которое способствует улучшению человеческой природы, раскрепощает творческие способности людей во имя всеобщего блага и т.д.¹ В целом нужно признать, что понимание государства в классической философии и юридической науке явилось в силу ее метафизичности внеантропологическим.

Одним из важнейших источников формирования и утверждения парадигмы государства в современном государствоведении является антропология государства. Она является продуктом интегративных исследований, становясь важным основанием реализации принципа гуманитаризации. Антропологическая окрашенность любого государства состоит в том, что антропология, перенесенная в государственно-правовую сферу, задает мировоззренческий статус отношения к человеку. Довольно четко и определенно высказался по этому вопросу Ж.М. Брекман. «Человек как единственное юридическое существо, – утверждал он, – вот несокрушимое основание всякой мысли о праве и государстве»². К этому следует добавить, что человек выступает не только лишь в качестве гражданина государства, но и значим как носитель самоценной социально-биологической сущности, которая воплощается в различные формы государственности.

Разработка антропологической научно-исследовательской программы является довольно новым явлением в государствоведении. Вместе с тем весьма значительные предпосылки для становления и развития антропологии государства содержались в учениях о праве и государстве в истории западноевропейской и российской юридической мысли второй половины XIX – XX вв. В первую очередь необходимо отметить работу И.К. Блюнчли «Антропологические очерки учений о праве и государстве», где выделяются важные аспекты антропологического подхода в изучении права и государства³.

В современной литературе можно заметить намечающийся антропологический ренессанс, который проявляется в возникновении многообразных антропоцентрических измерений государства. При этом некоторые ученые отмечают некоторые особенности современного изучения государства. В частности, В.Н. Шевченко справедливо считает, что «для жизнеспособности конкретного государства нужен человек вполне определенных качеств, соответствующих

¹ Более подробно об этом см.: Мамут Л.С. Государство: полюсы представлений // Общественные науки и современность. 1996. № 4. С. 45-54.

² Broekman Jan M. Droit et anthropologie. – P., 1993. P. 94.

³ См.: Блюнчли И.К. О значении и успехах новейшего международного права: от начала XVII века до 60-х годов XIX века. С приложением антропологических очерков учений о праве и государстве и биографического очерка автора / пер. с нем. - 2-е изд. – Москва: Ленард, 2016. С. 71-126.

его стратегическим целям и задачам»¹. Такой подход является антитезой юридическому позитивизму, отрицающему метафизическую сущность человека как разумного существа, обладающего свободой воли.

Учитывая трудности и специфику антропологии государства как новой научной дисциплины, отметим, что определяющую роль в ее возникновении, наряду с юристами, сыграли антропологи и представители политической антропологии. При этом ни в коем случае нельзя игнорировать и вклад в ее становление и представителей других социально-гуманитарных наук, а также философии. В этом русле, в частности, размышляет Б.В. Марков, отмечая, что «различие общества и государства является важным для дифференциации политической антропологии на две части. В одной ставится вопрос, что такое человек и какие он имеет права. Этот раздел образует антропологию права. Другой раздел составляет антропологию государства, ибо человек – это такое существо, которое, как считал Аристотель, от природы вынуждено жить сообща, т.е. в государстве»². Здесь необходимо сделать некоторое уточнение. Речь должна идти, на наш взгляд, не о том, что антропология права и антропология государства являются частями политической антропологии, поскольку они в действительности являются частями юридической антропологии. Антропология государства в действительности вышла из политической антропологии, отпочковавшись от нее, приобретя юридические основания в лице права. Как справедливо пишет И.Л. Честнов, «антропологическое измерение государства, таким образом, связано прежде всего с тем, что государство существует в знаково-символических формах, а также с тем, что оно конструируется и воспроизводится практиками людей преимущественно через механизм политико-правового представительства»³.

Если отпочкование политической антропологии от социальной (культурной) антропологии происходило в середине XX в., то соответствующее отпочкование антропологии государства от политической антропологии начало осуществляться в конце XX – начале XXI вв. Причем этот процесс наблюдается в различных странах мира, обладающих своей национально-культурной спецификой. Именно благодаря антропологии произошло научное объяснение генезиса государства⁴. И с этим нельзя не согласиться.

Одна из четких постановок вопроса об антропологии государства как специфического научного направления принадлежит в наше время чешскому антропологу П. Скальнику. «Почему мы, социальные антропологи, - пишет он, - изучаем государство? Я полагаю, что мы хотим знать как можно больше о про-

¹ Шевченко В.Н. Антропологическое измерение российского государства: к методологии анализа. – Москва: ИФ РАН, 2009. С. 46.

² Марков Б.В. Государство и человек / Человек. Государство. Глобализация: сборник философских статей / под ред. В.В. Парцвания. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество, 2005. Выпуск 3. С. 195-225.

³ Честнов И.Л. Государство с точки зрения социокультурной антропологии права // Вестник Московского педагогического университета: серия юридических наук. 2015. № 21(18). С. 24.

⁴ В частности, об этом свидетельствует выход книг Abelels M. *Anthropologie dr l'Etat*. – Paris: Armand Colin, 1990.

исхождении, структуре, функциях, роли в обществе, а может быть, также и об упадке той организации, которая в настоящее время (все еще) представляется господствующей во всем, что является человеческим, если не во всем, что является естественным или сверхъестественным. Между тем мы часто забываем, что наш труд, размышления, повседневные исследования, преподавание и общественные занятия – все это укоренено в существовании государства»¹.

Подчеркивая значимость человека в формировании государства, П. Скальник отмечает, что «человек творит государство именно сознанием, чувством и волею; не «просто» внешними поступками, но теми мотивами, которые побуждают его действовать так, а не иначе; не только правовыми нормами или силою принуждения, но длительным, устойчивым и содержательно-верным напряжением души и духа». Характеризуя этот процесс, он подчеркивал также, что «антропология возникла как один из продуктов государства. Хотя она, подобно другим научным дисциплинам, стремится представлять чистое знание, быть независимой от государства и критичной по отношению к нему, антропология не может уйти от своей зависимости от государства как спонсора и цензора»². Польский исследователь отметил, что эта наука составляет неотъемлемую часть общественных учреждений, которые частично или полностью не только спонсируются государством, но и отчитываются перед ним, на что потрачены эти средства. И это касается не только западноевропейских стран, но и России, а затем СССР, где были созданы этнографические центры при Академии Наук, занимавшиеся описанием народов, проживавших в различных государствах.

Значительную роль в становлении этой дисциплины сыграли исследования с антропологических позиций генезиса государства. Так, например, П. Скальник признает, что определенное время «наша антропологическая теория государства оказалась в изолированном положении, по существу не имея смычки, с одной стороны, с трактовками вождества, а с другой – с историческим, археологическим и политологическим исследованием государства»³. В дальнейшем происходил переход от политической антропологии догосударственных обществ к антропологии государства.

Предпосылки антропологического изучения государства содержатся в этнографии. Об этом свидетельствует, в частности, то, что Н.Н. Харузин, являвшийся одним из основателей российской этнографии, считал, что этнография «изучает эмбриологию государства и старается проследить элементы и основы, из которых впоследствии эволюционировали государственные организмы»⁴. Развивая эти положения в новых условиях, А.Б. Венгеров писал: «Изучая соотношение этнических процессов и правового регулирования, этнография выходит за рамки науки, которая изучает лишь обычаи, нравы, обряды и иные явления национального быта, сохраняющиеся у тех или иных этнических общно-

¹ Скальник П. Государство и антропология государства // Полис. 2011. № 6(126). С. 104.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Харузин Н.Н. Этнография: лекции, читанные в Императорском московском университете. Выпуск III. Собственность и первобытное государство. – Санкт-Петербург, 1903. С. 14.

стей. Она поднимается до обобщения основных процессов власти и нормативных систем. В связи с этим обнаруживаются весьма позитивные моменты для взаимопроникновения юридической науки и этнографии».

Рассматривая процесс зарождения государства, Н.В. Разуваев приходит к выводу о том, что «государство в момент своего зарождения является частно-правовой категорией. Последующая эволюция государства, будучи рассмотрена в своем юридическом аспекте, представляет собой процесс постепенной «публизации» государства, его трансформацию из частноправового в публично-правовой институт»¹. В этом контексте становится вполне очевидным «вывод о том, что теоретическое осмысление традиционного государства и закономерностей его эволюции входит в предмет юридической антропологии как особой правовой дисциплины»². Приведенное высказывание становится особенно значимым в наше время, когда государство как сложный социально-политический феномен становится объектом изучения не только юристов, но и социальных антропологов, политических антропологов, социологов, историков и представителей других социально-гуманитарных наук.

С начала XXI столетия антропология государства начала активно разрабатываться в России. В ходе рассмотрения взаимосвязей между человеком и государством ставится вопрос о рассмотрении государства в антропологической перспективе. Так, например, А.Н. Маркова и Ю.К. Федулов справедливо пишут, что «антропологические факторы означают, что государственная форма организации коренится в самой общественной природе человека»³. Вместе с тем значимо не только такое утверждение само по себе, но оно предполагает также раскрытие реального содержания государственной формы организации. Лишь при таком подходе к рассматриваемому вопросу происходит его содержательное обоснование. «Исторический путь, пройденный человечеством, – как справедливо отмечает В.И. Спиридонова, – позволяет сегодня радикально переосмыслить роковую дилемму: "государство для человека или человек для государства"»⁴. Именно в наше время все чаще выдвигается на передний план первая часть дилеммы – что может сделать государство для полнокровного и целостного развития человека.

История свидетельствует о том, что взгляды на взаимоотношения между человеком и государством в разные исторические эпохи менялись от признания человека в качестве винтика государственной машины к рассмотрению его в качестве созидателя и творца государства. Особенно наглядно это начинает проявляться в условиях современной глобализации, когда происходит переход от индустриального к информационному обществу. Как справедливо отмечает В.В. Скоробогачкий, «принципиальная ограниченность государственных ма-

¹ Разуваев Н.В. Правовые предпосылки возникновения и эволюции государства: очерк юридической антропологии // Правоведение. 2013. № 4. С. 84.

² Там же. С. 64.

³ Маркова А.Н., Федулов Ю.К. История государственного управления в России: учебник. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва: Юнити-Дана, 2007. С. 10.

⁴ Спиридонова В.И. Эволюция взаимосвязи человека и государства / Антропологическое измерение российского / отв. ред. В.Н. Шевченко. – Москва: ИФ РАН, 2009. С. 7.

шин заключается в том, что с самого начала из их конструкции было устранено человеческое измерение; эти машины предполагали сверхчеловеческий масштаб»¹. Вместе с тем переход к информационному обществу создает предпосылки для революционного изменения природы власти, или ее метаморфозе». И далее он подчеркивает, что «метаморфоза власти – свидетельство того, что в системе взаимоотношений между человеком и государством возникают новые тенденции, что человек становится целью для государства, а государство осознает себя средством для человеческого развития»². К этому можно добавить, что рассмотрение взаимодействия человека и государства в контексте реализации антропологического принципа может быть осуществлено в контексте выработки государственного человекопонимания. Государство является феноменом, созданным человеком на основе его природы, и существует в конечном счете для человека.

Антропология государства возникает как научная дисциплина в связи с началом изучения зарождения государства в протогосударственный период. Вместе с тем она обращена не только в прошлое, но и в будущее, поскольку не только в ближайшем, но и в отдаленном будущем говорить об отмирании государства даже в глобальном аспекте является, на наш взгляд, преждевременно. Обращаясь к реальной истории, мы видим, что государственная антропология или антропология государства изучает бытие государства на всех стадиях его развития – от архаики до современности. При этом она дополняет классические концепции возникновения государства.

Рассматривая юридическое познание и юридические знания с синкретических позиций, В.С. Нерсисянц выделяет в рамках юриспруденции «наличие таких юридических (по своему предмету и методу) дисциплин, как философия права, социология права, юридическая антропология, правовая кибернетика и т.д.», что, по его мнению, «вовсе не исключает формирования таких же по своему наименованию дисциплин, которые, однако, по своему предмету и методу относились бы к смежным наукам»³. При этом он подчеркивает, что «научные разработки в области юридической антропологии, психологии права, правовой логики, правовой информатики, правовой кибернетики находятся пока что на стадии утверждения *самостоятельного научного направления* юридических исследований»⁴. Как показывает история, юридическое познание включает познание права и познание государства, что позволяет включать в юридическую антропологию, наряду с антропологией права, и антропологию государства со всеми выходящими отсюда последствиями.

Становлению антропологии государства как относительно самостоятельной области исследования помогло обращение исследователей к раннеклассовым обществам. При этом от антрополого-политических исследований отпоч-

¹ Скоробогачкий В.В. Человек и современное российское государство: стратегии взаимодействия // Вопросы политологии и социологии. 2013. № 2. С. 264-265.

² Там же. С. 175.

³ Нерсисянц В.С. Проблемы общей теории права и государства: учебник. – 2-е изд., пересмотр. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2016. С. 15.

⁴ Там же.

ковались дисциплины, среди которых особое значение приобрела антропология государства. Само понятие «антропология государства» приобрело гражданство в различных языках и странах. В связи с этим можно говорить о различных версиях концепции антропологии государства в американской, французской, немецкой, польской и российской литературе. Несмотря на имеющееся различие, в них есть нечто общее.

Прежде всего антропология государства направлена на сравнение государственных систем с антропологическими позициями. Она изучает государственное бытие людей исходя из того, что в них изучаются многочисленные связи человека и государства и их взаимопроникновения. В конечном счете антропология государства выступает как научная дисциплина, которая изучает государственный процесс, чтобы дать адекватное представление о государственном бытии человека.

Значение антропологического фактора возрастает сегодня и в связи с обсуждением содержательной стороны предмета юридической науки. В частности, с начала XXI столетия начинает активно обсуждаться проблема учета человека в предмете теории государства и права. Так, например, характеризуя деятельностный подход, Л.С. Мамут отмечает, что он «позволяет избежать ошибочного представления о государственности как самодовлеющей надличностной структуре» и это «дает возможность (более того, обязывает) внести в науку о государстве рассмотрение субъектов социального действия (индивиды, группы, классы), практической энергией которых создается, модифицируется и развивается политическая организация общества»¹.

В контексте антропологического подхода размышляет и О.А. Пучков, подчеркивая, что «юридические знания, накопленные наукой к последнему времени, в своем составе не содержали проявлений человеческого начала. В тех общественных связях и отношениях, которые были предметом юридического познания, человек как некая индивидуальность, имеющая свой сложный духовный мир (рефлексивное сознание, совесть, ответственность, смысл деятельности и т.д.), так и не был выбран как предмет действительного изучения. Особенности его правовой социализации оставались за рамками внимания представителей науки»². Очерчивая предметное поле юридической антропологии, он отмечает, что оно велико и связано «лишь юриджико-антропологическим анализом проблем современного правоведения и права»³.

Следует признать, что на Западе и в России еще не произошло окончательное формирование антропологии государства в самостоятельную дисциплину. Более того, она еще не выделилась полностью из политической антропологии и антропологии организаций и не институционализировалась. Вместе с

¹ Мамут Л.С. Юриспруденция и легалистика / Юриспруденция XXI века: горизонты развития. – Санкт-Петербург, 2006. С. 6.

² Пучков О.А. Теория государства и права. Проблемы и перспективы // Правоведение. 2001. № 6. С. 6-13.

³ Пучков О.А. Юридическая антропология и развитие науки о государстве и праве: теоретические основы: дис. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2001. С. 3.

тем стали появляться серьезные исследования с различными концептуальными ориентациями.

Таким образом, с самого начала своего возникновения антропология государства занималась выяснением человеческих начал в государстве, своеобразным человеческим измерением государства, существуя в различных исторических и структурно-функциональных формах. И сегодня она занимается выявлением человеческих аспектов государственной организации общества. Антропология государства существенно обновляет проблематику и характер изучения развития различных стран, включая Россию. От антропологии универалистского характера намечается переход к антропологической плюралистичности. Это означает учет не только всеобщего, но и особенного в государственной жизни человека. Обращение к антропологическому подходу демонстрирует стремление ученых отказаться от классического рассмотрения государства в пользу изучения различных аспектов антропологии государства.

§ 4. Российская государственность как предмет научного анализа в зарубежной исторической науке

В условиях современной глобальной трансформации мира становится все более очевидным, что вопрос об антропологической ориентированности правового государства нуждается в концептуальном осмыслении. Поэтому актуальными становятся проблемы обновления государственности в современной России с учетом антропологического фактора, а также выяснения места человека и его роли в системе государственной власти. Сегодня все более осознается тот несомненный факт, что если государство в юридической науке рассматривается в его традиционно классической специфике, то при этом теряются этнические, национальные, расовые, религиозные, гендерные и другие его антропологические параметры, что не соответствует новым социокультурным реалиям. В этой связи важнейшей предпосылкой для теоретико-методологической разработки современной теории государства и права является учет культурно-цивилизационной специфики антропологии государства.

Важное место в теории государства и права начинает занимать юридическая антропология, включающая антропологию права и антропологию государства. Однако следует признать, что исследования антропологии государства до настоящего времени находятся в «начальном» состоянии. Эта ситуация начинает осознаваться в современной юридической науке, и исследователи предпринимают определенные усилия для решения назревших проблем. В частности, получают развитие антропологические исследования государства с учетом его становления, исторических этапов развития и современного состояния. Интерес в современном геополитическом контексте вызывает анализ российской государственности в зарубежной исторической науке.

Изучение истории России в западных странах было всегда тесно связано с эволюцией философских, идейно-теоретических и методологических основ ис-

торической науки. В результате сложившегося в целом конвенционального диалектичного противостояния генерализирующей, нацеленной на обобщения и индивидуализирующей, ориентированной на уникальное в истории методологий формирование исторического образа России на Западе всегда отличалось особой диалогичностью, что вообще характерно для новоевропейского научного знания¹.

Изучение истории России в западных странах определялось целым рядом внешних, объективных, независящих от логики развития науки обстоятельств и внутренних, связанных с закономерностями познавательной деятельности факторов. Формирование образа России на Западе во многом определялось как состоянием межгосударственных отношений, так и внутривнутриполитической ситуацией, складывающейся в этих странах. Не меньшую роль играл и общенаучный контекст, философско-исторические искания интеллектуальной элиты, в том числе и в области гуманитарных наук.

Со второй половины 1980-х годов, в связи с радикальными преобразованиями в СССР, начинается новый период в развитии россиеведения, сопровождающийся явным сдвигом как в организации исследовательского процесса в теоретико-методологической сфере, так и в формировании проблемных полей конкретно-исторических исследований.

Радикальные изменения геополитической ситуации в мире в последние десятилетия XX века и набирающие темпы процессы глобализации, напрямую касающиеся Европы, стали стимулом для переосмысления сложившейся системы ценностей. На макроисторическом уровне мировоззренческие искания ведут к серьезному пересмотру базовых, ставших аксиоматичными концептов современной западной цивилизации, сформировавшихся ещё в эпоху Просвещения: веры в разум и поступательное движение человечества к свободе, идеи прогресса и превосходства западной цивилизации, всей системы либеральных ценностей. Всё это существенным образом отразилось и на понимании своеобразия исторических форм государственности России, сформировало предпосылки для новых методологических подходов.

Актуальный сегодня анализ изменений форм политической организации развитых западных стран неизбежно ведёт к переосмыслению сущности власти вообще, понимание которой возможно только в историческом контексте. Популярным становится мнение о том, что растущая потребность в гибкой и мобильной власти, способной принимать рациональные и эффективные решения, всё чаще вступает в противоречие с требованием максимально жесткой правовой регламентации, а представления об «эффективном государстве» далеко не всегда вписываются в ставшую аксиоматичной модель «государства правового»².

Рост скептицизма в отношении исторически сложившихся в странах развитой демократии форм политической практики, сопровождающийся мировоззренческим кризисом, во многом стал результатом не только вдумчивого само-

¹ Бахтин М.М. 1961 год: заметки / Собр. соч.: в 7 т. – Москва, 1996. Т. 5. С. 330.

² Sajo A. Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism. – Budapest: Central Europe University Press, 1999. P. 207, 210.

анализа, но и осмысления радикальных политических реформ 1990-х годов в странах Восточной Европы, в том числе и в России. Сориентированные на копирование в основном американской неолиберальной политической и экономической модели, эти преобразования сопровождались тяжелейшими социальными последствиями для большинства населения этих стран, далеко не всегда гармонично сочетались с их историческими и культурными особенностями.

Большинство наблюдателей сходится во мнении, что номенклатурно-бюрократические, коррумпированные государственные структуры, появившиеся в результате преобразований, стали выражением «имитационного либерализма», который был искусственно насажден, «имплантирован» в чуждые ему общественные отношения, существенно деформирован и стал выполнять противоположные функции – оправдывать процесс конвертации власти в собственность, отвечавшие интересам правящей номенклатуры, отстранение от этих процессов подавляющей части населения¹.

Таким образом, активное заимствование классических моделей западной демократии реформирующимися обществами обнаружило проблемы, либо вообще неизвестные западным странам, либо стоявшие перед ними значительно раньше, на заре новоевропейской истории. Удивленному взору благополучных западных наблюдателей предстали ужасающие картины процесса первоначального накопления, воскресившие в их исторической памяти полузабытые сюжеты их собственной, казавшейся удаленной истории.

Интеллектуальный вызов, брошенный современностью, сопровождался нарастанием чувства ответственности и даже вины западной интеллектуальной элиты за неудачи, постигшие страны-последователи. Это с неизбежностью переместило проблему из академической в мировоззренческую плоскость, придало ей острое морально-этическое звучание, поставило каждого перед непростым выбором в системе координат «целей и средств», что не могло не отразиться на исследовательском пространстве исторического россиеведения.

Специалисты в области изучения истории российской государственности, прежде всего американские и британские, отреагировали на обострение методологических проблем усилением скептицизма в отношении процесса сциентизации, шедшего в русле «новой социальной» истории. Акцент был смещен в сторону теоретического переосмысления категориального аппарата науки: Ф. Флерон, в частности, объяснял неудачи россиеведения не введенными в научный оборот социологическими категориями как таковыми, а ограниченностью их трактовок, отражающих лишь исторический опыт Запада².

Кроме того, историков стал беспокоить и образовавшийся «разрыв» между русистикой и советологией, в этой связи критическому анализу стали подвергаться теоретические модели высокого уровня абстракции (как модель тоталитаризма, например), стройная внутренняя логика которых не находила под-

¹ Sajo A. Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism. – Budapest: Central Europe University Press, 1999. P. 207, 210.

² Fleron Fr. Comparative Politics and Lessons for the Present. Harriman Institute Forum. – New York, 1992. P. 3-7.

тверждения фактической историей. Было признано, что, довлея над исследовательским процессом, эти теоретические конструкции сужают функции русистики до объяснения «груза прошлого», детерминировавшего историческое развитие России в XX веке.

Так, анализируя развитие политической системы России в 1990-е годы, С. Коэн упрекает американское россиеведение за его приверженность давно устаревшим тоталитарным моделям, упрощенным концепциям транзитологии, различным вариантам теории «переходного периода». Сформированные ещё русскими либералами XIX века, традиционные взгляды на государство как на источник прогрессивного развития делают возможной нормативистскую интерпретацию истории России, основанную на понятиях «вестернизации», «догоняющего развития», что в значительной степени обедняет наши представления об обществе и общественной организации, ограничивает их лишь фиксированной моделью учреждений, в ущерб неповторимому многообразию общественных отношений.

Таким образом, постигшее исследователей на рубеже 1980-1990-х годов разочарование в возможности генерирования синтетической методологии на основе союза истории с социологией и экономикой способствовало решительной смене исследовательских акцентов с социологических категорий на человеческое содержание исторического процесса. Центральная тема исторических исследований переместилась с «окружающих человека обстоятельств на человека в конкретных обстоятельствах», монокаузальные объяснительные модели постепенно уступают место моделям многофакторным, направленным на изучение процесса индивидуализации¹.

На фоне нарастающей критики генерализирующей методологии возрос интерес историков к этнологии и культурной антропологии, что расширяло предметные области в направлении изучения истории человеческого сознания, тесно связанной с палеопсихологией, исторической психологией и историей ментальностей².

Более того, на фоне консервативной тенденции в современной американской и британской методологии истории, ставящей своей целью исторический синтез «новой» и «старой» истории, получила развитие «космологическая антропология». В основу такого «постмодернистского космизма» были положены идеи Н.Р. Федорова, К.А. Циолковского, В.И. Вернадского, видевших в человеке не систему культурных символов или элемент социальной структуры общества, а часть космоса, использующего культуру как адаптационный механизм³.

Таким образом, в процессе переоценки ценностей на смену социальной истории на передний план стали выходить культурологические аспекты исторической реальности. Смещение исследовательских акцентов способствовало изменению представлений о предмете: в центре внимания историков оказыва-

¹ Stone L. The Past and the Present Revisited. – London, 1987. P. XI, XII, 30 etc.

² Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. № 2-3. С. 29.

³ Жук С.И. Одномерна ли история? // Вопросы истории. 1992. № 8-9. С. 186-187.

ются малые социальные общности, которые выделяются по разным критериям, часто неформального свойства, но они могут нести информацию о проявлениях человеческой природы. Подобные подходы оказались продуктивными для изучения неинституционных форм власти, процессов формирования основ гражданского общества, политико-правовой ментальности, неофициальных форм индивидуальной и групповой идентичности и т.д. Исторический процесс, таким образом, обретает «человеческое измерение».

Базовая категория этого подхода – «культура» – под влиянием историко-антропологических исследований изменила своё содержание и стала пониматься не как совокупность результатов деятельности людей во всех сферах общества, а как образ жизни на основе разделяемых представлений, ценностей, ритуалов.

В рамках современной «новой культурной» истории можно выделить три основных подхода, которые определяют различные направления исследований: интеллектуальная история, изучающая историю интеллектуальной деятельности в широком культурно-историческом контексте и в самых разнообразных формах проявления; политическая антропология, исследующая человеческое измерение проблем власти и права; история ментальностей, нацеленная на изучение глубинных пластов народной жизни (обрядов, верований и т.д.). Значительным достижением «новой культурной» истории стало оформление новых жанров историописания, в рамках которых и реализуют себя названные направления: локальная история, микроистория, история частной жизни и другие.

Необходимо отметить в этой связи, что продолжающаяся сегодня в контексте современного взрыва интереса к «новой культурной», «новой интеллектуальной» истории трансформация образа научности предъявляет особые требования к личности самого исследователя.

Очевидно, что историческая реконструкция должна принимать во внимание умонастроения автора в равной степени, как и исторический контекст, в котором появился анализируемый материал.

Если прежде степень объективности исследователя оценивалась в зависимости от его политических взглядов – «либерального», «консервативного», «марксистского» и т.д. – и неизбежно включала в себя определенный элемент относительности, то с появлением «новой культурной» истории особое значение стали приобретать такие факторы, как этическая составляющая исследовательского процесса, литературные пристрастия автора и т.д., что существенным образом сказалось не только на содержании, но и на характере изложения конкретно-исторических исследований. Таким образом, история сближается с литературой, изменяется сам язык историописания, он становится более насыщенным, образным, живым.

В российском исследовании к концу 1980-х годов фокус интереса постепенно смещается с советской на имперскую историю, особенно второй половины XIX века. В контексте российской проблематики эти настроения реализуют себя в активной разработке различных аспектов истории имперского типа государственности в противовес национально-государственной модели. В этой связи особую значимость приобретают исследования проблем приспособляемости традици-

онных структур к мощному инокультурному влиянию, изучение механизмов взаимодействия имперской власти и национальных культур, поиск компромиссов, способствовавших сохранению в течение длительного исторического периода стабильности многонациональных и поликонфессиональных обществ¹.

В русле данной исследовательской стратегии повышение интереса к политической истории происходит под иным углом зрения – прослеживается преимущественно позитивная роль государства в сохранении социальной, политической, межнациональной стабильности в обществе.

Не подвергая сомнению тот факт, что современное состояние страны тесно связано с её прошлым, в американском россиеведении, например, к концу 1990-х годов изучение прошлого России мотивируется не столько стремлением осудить, сколько желанием понять и помочь. Неслучайно поэтому работа Р. Пайпса «Русская революция» вызвала резкую критику со стороны его коллег за игнорирование этих тенденций и одиозность выводов, написанных в духе «холодной войны». Формирующиеся новые этические императивы современного академического сообщества в отношении России находятся в явном противоречии со стремлением Р. Пайпса найти «виновного», игнорируя социальный контекст революционных событий².

Предметом исследования всё чаще становятся компоненты социокультурных реалий России, влияние, исходившее от социальных слоёв и групп гетерогенного российского общества, на властные структуры и на процессы исторических перемен в стране. В этом смысле объяснение движущих сил развития страны только ведущей ролью государства, а социальных потрясений и разрушений традиционных государственных структур только действием деструктивной оппозиции, как это было принято в классической модернизационной парадигме, выглядит явно недостаточным и заставляет исследователей существенно корректировать, расширять традиционные границы понимания сферы «политического».

Наметилась отчетливая тенденция переосмысления самой сущностной природы «социального» и «политического», но вместе с тем стала очевидной невозможность уйти от политической истории, поскольку социальные и культурные элементы общества формировались в тесной связи с политической сферой, а в российской истории – под прямым влиянием власти.

При рассмотрении проблемных полей следует отметить прежде всего традиционные направления, которые неизменно привлекали внимание исследователей: проблематику, связанную с предпосылками и характером революционных потрясений 1917 года, различные формы оппозиции власти и влияние Запада. Вне зависимости от теоретических или идеологических императивов эта проблематика всегда была тесно связана с трактовками исторического своеобразия России, особенно имперского периода её истории, с изучением ста-

¹ Slezkine Y. Arctic Mirrors: Ruusia and the Small People's of the North. – Berkeley: University of California, 1994.

² Pipes R. The Russian Revolution. – New York, 1990; Rec.: Питер Кинез. The Prosecution of Soviet History: A Critique of Richard Pipes' «The Russian Revolution» // R.R. 1991. Vol. 50. № 3. P. 345-351; Suny R. // AHR. 1991. Vol. 96. Dec. № 5; Rosenberg W.G. // Nation. 1994. Feb. 18; Koenker D.P. // Journal of Modern History. 1992.

бильных и нестабильных элементов государственности, процессов модернизации и европеизации.

Усложнение видения природы исторической эволюции социокультурного пространства России сориентировало исследовательский интерес в направлении скрытых, но действенных способов социальной регуляции поведения личности и социальных групп в обществе, а также неинституционных механизмов ограничения власти. На уровне конкретно-исторических исследований появились проблемные блоки, изучающие явления и процессы, ранее ускользавшие из поля зрения исследователей.

Если прежде исследование «неструктурируемого элемента» исчерпывалось изучением революционного движения как формы непримиримой оппозиции государственной власти, то сегодня внимание исследователей привлекают все известные виды социальной девиации.

Проблемные блоки этого направления включают в себя самый широкий спектр социальных явлений: от истории гениальности, неинституционных форм научной и профессиональной идентификации, до истории преступности и других форм культурно осуждаемых социальных отклонений (алкоголизм, проституция и т.д.)¹.

Так, например, существенной новацией современных подходов является отказ рассматривать все явления и процессы в дореволюционной России через призму революционных событий, утратил своё определяющее значение сам рубеж 1917 года. Общей тенденцией является стремление объяснить не столько причины падения империи, сколько истоки её столь длительного существования. Современные исследователи, как отметили в своих ретроспективных обзорах накопленного исследовательского опыта Р. Суни и П. Дьюкс, дистанцируются как от трактовок Октябрьской революции как государственного переворота, характерного для «традиционной политической истории» 1960-1970-х годов (в современном варианте эта точка зрения представлена в упомянутой выше работе Р. Пайпса, написанной в 1990-е годы), так и от ревизионистских концепций социальных историков, утвердившихся в 1970-е годы, в центре которых стоит теория социального конфликта между «верхами» и «низами»².

Размывание общепринятых ранее хронологических границ принципиально изменяет исследовательское пространство, актуализируя опыт имперской, абсолютистской государственности, придает ей характер системообразующего фактора для всей дальнейшей истории страны. П. Холквист, например, рассматривает тоталитарную государственность как вспомогательную функцию современного государства и один из вариантов контроля за поведением населения. Автор намеренно игнорирует политическое содержание, которым ранее исчерпывалось понимание тоталитарных форм правления, и трактует их как

¹ Neuberger J. Hooliganism: Crime, Culture and Power in St. Petersburg, 1900-1914. – Berkeley: University of California, 1993. Constructing Russian Culture in the Age of Revolution: 1881-1940 / ed. by D. Shepherd. – New York: Oxford University Press, 1998.

² Дьюкс П. Октябрьская революция в оценке американских историков / Россия в XX веке. Историки мира спорят... – Москва, 1994. С. 687-691.

необходимый этап эволюции системы управления, её перехода от «территориального» к «правительственному» (отраслевому) типу.

Политический надзор в этом контексте представляет собой лишь «один из инструментов эффективного управления населением» и является неотъемлемой частью общеевропейского опыта, включая опыт Российской империи и СССР. Таким образом, революционные события 1917 года представляются как наиболее яркое проявление специфических черт исторического развития страны, которые нуждаются в более обстоятельном анализе. П. Дьюкс призывает своих коллег к сравнительному изучению революций в Англии, США, Франции и России, что позволит рассмотреть проблемы радикальной трансформации государственных структур в комплексе, сопоставить факты, определить общее и особенное в их развитии, начиная как минимум с XVIII века. Не вызывает сомнения и практическая направленность этого исследовательского дискурса, поскольку он ориентирован на получение такого знания о специфике России, с учетом которого Запад сможет строить отношения с ней¹.

Таким образом, радикальные преобразования, проходящие в современной России, способствовали процессам теоретико-методологических исканий, формированию новых проблемных полей конкретно-исторических исследований России. Значительное внимание уделяется разработке концепта «эффективного государства», не всегда совпадающего в своих основах с моделью «правового государства». На рубеже XX-XXI веков в зарубежном россиеведении пришло понимание необходимости отойти от чрезмерного давления политологических конструкций над историческими исследованиями.

Одним из перспективных направлений сегодня является культурно-антропологический дискурс, который придал историческим исследованиям «человеческое измерение», а «новая культурная» история открыла возможности в изучении микроистории, локальной истории, истории ментальностей. Формирующиеся методологические подходы позволяют по-новому изучать традиционные проблемы российской государственности, в том числе и историю социальных потрясений 1917 года.

¹ Holquist P. Making war, forging revolution: Russia's continuum of crisis, 1914-1921. – Cambridge, 2002. P. 52, 62.

Глава 2. Антропологические проблемы российского государства в историческом измерении

Глобальный кризис, связанный с невозможностью реализации единого мировоззрения в рамках многоликости мировой культуры, обуславливает поиск концептуальных антропологических констант, позволяющих обозначить общий вектор репрезентации современной юридической культуры. В этой связи в философии государства, теории государства и права все чаще выходит на передний план проблема антропологических констант, относящихся к сфере государственно-правового бытия. При этом развитие антропологии государства позволяет, на наш взгляд, более полно и емко представить рассматриваемую область научного знания. При этом выявление и концептуальное осмысление антропологических констант современного российского государства позволит рассмотреть его как органическую социально-политическую целостность, находящуюся в историческом развитии.

Одним из важных направлений в антропологии государства является разработка ее основополагающих начал, т.е. исходных принципов. Это связано с тем, что именно принципы наиболее ярко выражают направленность и существенные особенности антропологии государства и государственного управления. В истории формирования системы государственно-правовых принципов можно выделить два основных этапа: 1) классический и 2) постклассический. При этом разработка нравственно-правовых принципов и принципов юридической антропологии позволяет решать актуальные проблемы становления и развития антропологии государства.

В условиях современной глобализации возрастает значимость государственного управления с учетом специфики антропологического фактора. Поэтому необходимо учитывать различные уровни его осмысления: 1) международный, 2) общегосударственный в той или иной стране, 3) региональный и 4) местное самоуправление. Реализация такого дифференцированного подхода может стать надежной теоретико-методологической основой для разработки системного решения проблем антропологии государственного управления.

§ 1. Проблемы истории государства и общества России периода абсолютной монархии XVIII-XIX веков в исторической мысли США и Великобритании

Общие закономерности развития исторической мысли в США и Великобритании находят своё воплощение в многочисленных конкретно-исторических теориях, посвященных различным проблемам истории абсолютной монархии в России XVIII-XIX веков. Особый интерес со стороны исследователей проявляется к проблемам генезиса основных институтов российской абсолютистской

государственности и механизмов её взаимодействия с обществом. Сложившееся исследовательское пространство всегда характеризовалось внутренним многообразием, которое проявлялось даже тогда, когда давление на процесс изучения данной проблематики со стороны политически ангажированных теорий было значительным.

При этом можно выделить три основных исследовательских направления, которые не только по-разному определяют предметные поля, но и используют различные исследовательские процедуры, отвечающие поставленным задачам: институциональная история, общественной структуры и механизмы взаимодействия общества и государства.

При рассмотрении сложившихся научных традиций по данной проблематике можно выделить несколько блоков проблем, традиционно находящихся в центре внимания исследователей: идеологическое обеспечение политики абсолютистского государства, соотношение в идеологии и практике правящей элиты европейских идейных влияний и традиционной идеологии, основанной прежде всего на православной системе ценностей; формирование и развитие системы органов власти и управления всех уровней, их структура, функции и эффективность в решении различных проблем, особое внимание уделяется реформаторскому потенциалу, способности русского самодержавия абсолютистского периода его истории к саморазвитию, изменениям, соответствующим требованиям времени; развитие системы правосудия, армии и органов охраны правопорядка; формирование бюрократии, её социальной базы, мировоззрения и профессионализма. При рассмотрении проблем общественного развития особое внимание уделяется эволюции сословного строя, а также (особенно в последнее время) становлению основ гражданского общества и специфике политико-правовой ментальности российского общества XVIII-XIX веков.

Основной целью зарубежных историков всегда было выяснение качественных характеристик российской государственности вообще и абсолютистского периода её развития в частности, определение степени её соответствия общеевропейским стандартам или выявление её качественной специфики. В разные периоды эволюции русификации при наличии различной мотивации научные оценки носили противоречивый характер и на сегодняшний день представляют собой широкий спектр точек зрения об историческом развитии российского абсолютизма. Исследовательское пространство эволюционировало от идеи о качественном своеобразии российского абсолютизма, развивающегося по своим закономерностям, далеким от общеевропейских (тоталитарная парадигма), до признания общности судеб Европы и России (модернизационная парадигма). Особая исследовательская стратегия разрабатывается в рамках цивилизационного подхода, сторонники которого все проблемы истории российского абсолютизма рассматривают вне дихотомии «Восток-Запад» или «Россия-Европа». Методологически этот подход реализуется преимущественно в русле «новой имперской» истории российского абсолютизма.

Несмотря на различия в понимании сущности русского абсолютизма, практически все исследователи убеждены в том, что с утверждением абсолютизма продолжало господствовать самодержавие, которое, по выражению

А. Лентина, «оставалось сутью русского государственного устройства»¹, хотя и демонстрировало возможность видоизменяться.

Периодизация истории русского абсолютизма – одна из спорных проблем в современном россиеведении. Как правило, отправной точкой рассуждений является² правление Петра I, но только одни считают, что «эпоха абсолютизма начинается с личного правления Петра I»³, другие отмечают, что в его правление «абсолютизм в России был значительно усилен»⁴, а третьи убеждены в том, что реформаторская деятельность императора была настолько успешной, что именно при нем Россия «стала абсолютистским государством».

Дж. Олива и А. Лентин понимают абсолютизм как общеевропейское явление, и процессы, имевшие место в России эпохи Петра I, они рассматривают в контексте европейской истории. Пытаясь определить специфику российской модели абсолютной монархии, Дж. Олива обращается к традиционной аргументации, связанной с природно-климатическим и географическим детерминизмом. По его мнению, сложившаяся в России при Петре I система управления, как и в предшествующие периоды, «была обусловлена её географической обширностью»⁵, хотя корни самой идеи необходимости значительного усиления власти монарха он ищет всё же на Западе.

Проблема легитимации власти монарха тесно связана с изменением положения церкви в абсолютистском государстве.

Церковную реформу Петра I некоторые историки связывают с западным влиянием, с перенесением на русскую почву исторического опыта стран Северной Европы, в которых имела место радикальная церковная Реформация⁶.

Дж. Олива считает: «Основная цель реформы – подчинение церкви государству, с созданием Синода власть монарха укрепляется. Секуляризация носила общеевропейский характер, а сама церковная реформа тесно связана со своим предшествующим этапом развития страны, она стала следствием широких культурных перемен, произошедших еще в Московском царстве XVIII века»⁷.

Специальная работа Дж. Кракрафта посвящена церковной реформе Петра I. Основная мысль: упразднение автономии церкви было не целью, а средством, поскольку основная задача – извлечение материальных и людских ресурсов для ведения войны⁸.

¹ Lentin A. Russia in the Eighteenth Century from Peter the Great to Catherine the Great (1696-1796). – London, 1973. P. 80.

² Beloff M. The Age of Absolutism. 1660-1815. – London, 1964. P. 133.

³ Yakobson S. Petr the Great. A Russian Hero // History Today. 1972. № 7. P. 461-469.

⁴ Lentin A. Russia in the Eighteenth Century from Peter the Great to Catherine the Great (1696-1796). – London, 1973. P. 41.

⁵ Oliva J.L. Russia in the Era of Peter the Great. – New Jersey, 1969. P. 179.

⁶ Riazanovsky N. A History of Russia. – New York: Oxford Univ. Press, 1984. P. 257; Sumner B.H. Peter the Great and the Emergence of Russia. How Russia Became in the Western World. – New York: Collier books, 1962. P. 127.

⁷ Oliva J.L. Russia in the Era of Peter the Great. – New Jersey, 1969. P. 133-140.

⁸ Cracraft J. The Church Reform of Peter the Great. – Stanford, 1971. P. 65-66, 87.

М. Андерсон ставит результаты реформ в зависимость от воли царя, которая определялась той же задачей – извлечение материальных ресурсов для решения самого широкого спектра проблем: от поддержки образования и помощи нищим до проведения государственных реформ¹. В то же время автор обращает внимание на опосредованные временем результаты реформы, которая затронула глубинные духовные пласты и интересы простого народа. Реформа, подчинившая автокефальную церковь государству, значительно ущемила интересы народа, который не хотел «выражать свою религиозность через механизм официальной церкви». Это способствовало росту мистицизма, сектанства и анархизма².

Изменение международной обстановки в Европе неслучайно совпало с формированием и развитием основ абсолютистской государственности, поскольку в условиях ускорения темпов развития, связанных с генезисом капитализма, сложился новый взгляд на роль государства. В новых условиях, отмеченных обострением международной конкуренции, государство превращалось в важного актора, оно формировало такие механизмы управления, которые должны были быть эффективными в защите национальных интересов страны. В свою очередь, это способствовало повышению активности государства, при этом созидательная инициатива власти не ограничивалась только политикой протекционизма и меркантилизма, а проникала и в другие сферы – социальную, политическую, культурную. Россия не могла оставаться в стороне от этих процессов, более того, по выражению Дж. Оливы «преимущества самодержавной формы правления проявились в организованности и эффективности управления им»³.

Абсолютизм формирует современные институты государственности, придает этому государству «современный вид», историки неслучайно отмечают, что именно в эту эпоху отчетливо проявляет себя тенденция универсализации государственных механизмов, они обретают общие черты, хотя и обремененные существенной исторической спецификой. Это дает основание Дж. Оливе для проведения актуальных для середины XX века исторических аналогий: «Поддержка Петром ведущей роли государства в организации, регулировании и выборе направлений развития для всеобщего блага является западной идеей, которая продолжает оставаться актуальной и сегодня как для капитализма свободного предпринимательства, так и для промышленного социализма. Значительный вклад Петра I в развитие этой идеи несомненен»⁴.

Одной из причин, приведших к усилению власти монархии, некоторые исследователи справедливо считают отсутствие в стране неформальных общественных организаций, неразвитость основ гражданского общества⁵.

Отсутствие традиций гражданственности, по мнению П.М. Андерсона, не могло не повлиять и на качество создаваемого Петром I государственного ап-

¹ Anderson M.S. Peter the Great. – London, 1978. P. 108.

² Там же. P. 112-113.

³ Oliva J.L. Russia in the Era of Peter the Great. – New Jersey, 1969. P. 80.

⁴ Там же. P. 132.

⁵ Lentin A. Russia in the Eighteenth Century from Peter the Great to Catherine the Great (1696-1796). – London, 1973. P. 43.

парата, который состоял из людей, лишенных личной властной воли. Решительность императора, подчас граничившая с произволом, превратила государственный аппарат в «инструмент воли Петра», он потерял свое самостоятельное значение¹.

Решение вопроса о формировании абсолютизма в России тесно связано с проблемой западных влияний. Практически все исследователи признают их наличие, но по-разному понимают степень их проникновения в русскую жизнь.

Большинство исследователей полагают, что деятельность Петра I носила синтетический характер и была нацелена на гармоничное сочетание западного опыта и русской действительности, в результате ему удалось соединить «формы западной монархии с общественной практикой государственной службы и крепостничества в России»². Н. Рязановский ещё более последователен в отстаивании тезиса о преобладании западных влияний: «Петр I заимствовал упорядоченность самодержавия и отношений правителя с подданными из Швеции, а не из московской традиции. Отказ от прежних государственных институтов в пользу новых сделал изменения в природе государства ясными и очевидными»³.

Тоталитарная парадигма. Традиционные подходы к изучению своеобразия русской государственности периода абсолютной монархии предлагали наличие качественного отличия её от европейской традиции. Так, например М. Чернявский не разделял мнения об утверждении абсолютной власти монарха в период правления Петра I и рассматривал усиление власти царя как возвращение к формам правления, типичным для русской проазиатской государственной традиции, близкой к восточной деспотии: «хан одержал верх над базилевсом». Сторонники такой точки зрения обосновывали свою правоту с позиций теории «вотчинного государства»: царь смотрел на свою страну как на частную собственность. М. Чернявский иллюстрирует свою позицию анализом законодательной деятельности императора, в частности, Указом о престолонаследии, который, по мнению историка, нарушал сложившееся в Европе представление о феодальной «конституции» и ставил под вопрос легитимность власти монарха⁴.

Аргументация теории «вотчинного государства» была существенно обновлена Р. Пайпсом, который увязывал «новый период» русской истории, начавшийся с царствования Петра I, с началом глубокой трансформации «вотчинной модели» государства в России. Основным фактором, приведшим к реформированию страны, он считает географическую близость к Западной Европе, неизбежность её влияния на Россию. Необходимость (преимущественно военная) заимствования европейского опыта, стремление найти поддержку в обществе заставили власть пойти на «осторожное внесение изменений в существующий порядок». Автор скептически относится к возможностям «вотчинного государства» эволюционировать и приобретать «гибкость», он не разделяет

¹ Anderson M.S. Peter the Great. – London, 1978. P. 139.

² Wortman R. Peter the Great and the Court Precedure // Canadian-American Slavic Studies. 1974. № 2. P. 310.

³ Riazanovsky N. A History of Russia. – New York: Oxford Univ. Press, 1984. P. 254-255.

⁴ Cherniavsky M. Tsar and People. A Historical Study of Russian National and Social Myths. – London: Yale Univ. Press, 1961. P. 78, 85.

мнения своих коллег о прогрессивности реформаторской деятельности Петра I, напротив, он обращает внимание на негативные следствия преобразовательной активности императора. Р. Пайпс считает реформы Петра I незавершенными, не достигшими своей цели – сочетания элементов западной и вотчинной моделей государственности. Вопреки логике традиционных теорий абсолютной монархии Р. Пайпс приходит к противоположному выводу об ослаблении государства в результате реформ, поскольку оно постепенно в течение всего имперского периода истории утратило три ключевых элемента, которые составляли его основу: освобождение дворян от обязательной службы, отмена крепостного права и развитие института частной собственности. В результате государство лишилось своих «социально-экономических и культурных подпорок», была уменьшена «власть, которой некогда пользовались русские государи, не предоставив им преимуществ либерального и демократического правления», характерных для европейских моделей. Результатом этого стали «размывание царской власти и постепенная общая политическая дезорганизация»¹.

В именном указе 1702 года Петр I провозглашает, что все его «старания и намерения...клонились к тому, ...чтобы все наши подданные, попечением нашим о всеобщем благе, более и более приходили в лучшее и благополучное состояние»².

К модели «полицейского государства»: достаточно распространено мнение о том, что Петр I стремился создать особую психологическую атмосферу, в которой бы витал дух предпринимательства, как это имело место в Западной Европе. Он стремился создать класс предпринимателей с деловой хваткой и необходимыми знаниями, что открывало новые горизонты для предпринимательской деятельности: он «прилагал огромные усилия для развития частной инициативы»³.

Становление абсолютной монархии в России неразрывно связано с изменениями представлений власти о себе самой, о своих функциях и задачах, что не могло не отразиться на идеологическом освещении намерений государства по реформированию страны. Очевидно, что XVIII век с его рационализмом и повышенной требовательностью к процессу легитимации власти способствовал изменению представлений о самодержавии: царь стал пониматься не только как «помазанник Божий», но как опекун благосостояния нации, несущий ответственность за страну. Власть царя превращалась, таким образом, в активную и секулярную силу, добивающуюся своей цели, только при условии, если она будет действовать в соответствии с законом. Забота о соблюдении принципа законности, часто остававшаяся лишь декларацией, далекой от реальной политики, всё же стала важнейшим приоритетом власти, объявлялась основой функционирования государства, чиновничьего аппарата, взаимодействия между различными группами населения и государством.

¹ Pipes R. Russia Under the Old Regime. – New York: Weidenfull and Nicolson, 1974. P. 145-150.

² ПЗС. Т. V. № 2789. С. 91.

³ Anderson M.S. Peter the Great. – London, 1969. P. 99, 103; Riazanovsky N. A History of Russia. – New York: Oxford Univ. Press, 1984. P. 261.

Начиная с Петра I, при всей сложности обоснования принципа законности в стране, основанной на крепостном праве, защита законности стала одной из важнейших черт образа абсолютного монарха как гаранта благосостояния нации. Поэтому практически все его последователи проявляли повышенный интерес к этим вопросам, уделяли внимание судебной системе, стремились, насколько это возможно, улучшить положение дел в этой сфере.

Процесс генезиса идеологической доктрины русской абсолютной монархии всегда рассматривался западными учеными в контексте истории общественной мысли Европы этого периода и неизменно увязывался с влиянием идеологии Просвещения, с формированием её специфически русских форм. Ключевой проблемой, уходящей корнями в интеллектуальную традицию Европы последних трёх веков, является идентификация самого понятия «Просвещение».

Исследователи справедливо отмечают, что общественное мнение XVIII века вкладывало в понятие «Просвещение» более широкий смысл, чем последовавшие за ними либеральные историки, ассоциировавшие его с интеллектуальной и политической свободой, поэтому правильная оценка преобразований невозможна без учета понимания Просвещения его современниками, которые видели в нем совокупность взаимосвязанных философских систем, звено интеллектуальной эволюции Европы и расценивали его как «улучшение» в рамках идеи «прогресса»¹.

Неслучайно поэтому одним из основных исследовательских направлений является изучение влияния идей Просвещения на генезис восточноевропейских вариантов абсолютизма.

Характерной чертой «просвещенного абсолютизма» как типа правления, реализованного в странах Центральной и Восточной Европы, является последовательность и целенаправленность внутренней политики «просвещенных монархов», даже если далеко не все их политические декларации воплощались в жизнь. Исследователи отмечают наличие общих черт в деятельности Екатерины II, Фридриха II Прусского и Иосифа II Австрийского и объясняют это влиянием на них интеллектуального климата эпохи Просвещения².

В то же время, основываясь на положении об отсутствии непосредственной связи между просветительскими идеями и реформаторской деятельностью, в западной историографии все активнее заявляет о себе направление, отрицающее исключительное влияние Франции на формирование мировоззренческих ценностей Европы и призывающее вплотную приступить к изучению взглядов мыслителей, воспитанных национальными культурными традициями, поскольку их влияние на реальную политику было гораздо значимее, чем влияние признанных авторитетов Просвещения.

Огромная заслуга в изучении соотношения общеевропейской интеллектуальной традиции и национальных моделей просветительской идеологии при-

¹ Jones R. The Provincial Development in Russia: Catherine II and Jacob Sivers. – New Brunswick, 1984. P. 2, 6.

² Stuart A. Introduction // Enlightened Despotism. P. XII-XV.

надлежит итальянскому историку Ф. Вентури, который открыл миру богатство и многообразие итальянского Просвещения и доказал, что Просвещение – это движение за реформы и обновление, развивающееся в своем собственном национальном контексте¹. Углубляя этот подход, американский историк Г.М. Скотт вообще считает, что влияние французского Просвещения на национальную политику других государств было незначительным, ибо теория и практика реальных реформ выходят далеко за пределы просветительской идеологии, решая текущие проблемы в рамках преемственности с предыдущими историческими периодами². Просвещение, на его взгляд, играло роль дополнительного средства решения разных проблем. В этом смысле понятие «Просвещение» толкуется автором широко: не просто как система взглядов, а как широкий интеллектуальный контекст эпохи, на фоне которого реформы принимали определенный облик. В этом понимании просвещенный абсолютизм становится составной частью ментальной среды эпохи, а не только лишь способом перенесения доктрин философов на иностранную почву³.

М. Скотт находит исторические подтверждения тому, что «прикладные просветительские идеи», отвечающие потребностям реальной политики и рожденные на национальной почве, играли не меньшую роль в формировании новой политической доктрины абсолютизма, чем классическое французское Просвещение, ибо были теснее связаны с социально-политическими реалиями.

Одну из ярких иллюстраций этому подходу Г.М. Скотт находит в трактовке сути внешней политики эпохи. Он подчеркивает, что, хотя классическое Просвещение предполагало построение отношений между государствами по аналогии с межчеловеческими отношениями, то есть на основе толерантности и миролюбия, в основу реальной внешней политики абсолютных монархов легли «прикладные идеи политической алгебры» австрийского государственного канцлера при Марии Терезии В.А. Кауница, суть которых заключалась в том, что политика должна быть детерминирована реальными причинами и подкреплена силой рационального анализа, что допускало и оправдывало жесткость внешнеполитического курса⁴.

Это дает исследователю основание для значимого заключения: каждая историческая эпоха должна описываться «в своих собственных терминах», отражающих специфику развития данного исторического периода. Поэтому внутренняя и внешняя политика абсолютистских государств не может быть понята вне контекста задач реальной политики⁵.

Английский историк Д. Билз, например, руководствуясь этим принципом, попытался посмотреть на проблему своеобразия социальных отношений при абсолютизме. Концепция Д. Билза строится на критике марксистской парадигмы, стремящейся отыскать социальную детерминанту любой просветительской

¹ Scott H.M. The problem of Enlightened Absolutism // Enlightened Absolutism. P. 13-14.

² Scott H.M. Op. cit. P. 16.

³ Ibid. P. 17-18.

⁴ Scott H.M. Op. Cit. P. 26-30.

⁵ Ibid. P. 20.

идее¹. Оценивая Просвещение прежде всего как «интеллектуальное движение», автор подчеркивает, что его широкое мировоззренческое поле создавало универсальную основу для обсуждения и решения самых сложных задач, стоящих перед европейскими странами. Эта универсальность Просвещения создавала предпосылки для широкого спектра взаимозависимостей и открывала возможности для механизмов «обратного воздействия» со стороны восточноевропейских стран в отношении призванного авангарда – Франции и Англии.

Д. Билз не видит смысла в поиске социальной базы в лице того или иного сословия в качестве внутренней основы политики абсолютистских государств: низы, по его мнению, были далеки от этой идеологии и в своих требованиях руководствовались скорее насущными каждодневными потребностями, чем высокими идеалами; верхи использовали передовые идеи не только в поддержку реформ, но и как аргумент в пользу их свертыwania, причем сами они формировали не только группу сторонников реформ, но и мощную, часто более многочисленную оппозицию этой политике².

И всё же исследователи убеждены, что русское Просвещение сформировало «европейское лицо» России, придав цивилизованную форму общественным процессам, предопределившим исторический путь страны последующих эпох.

Н. Рязановский, в частности, отмечает, что Россия не могла оказаться в стороне от Века Разума – расцвета интеллектуального развития Европы, впитавшего в себя идейные течения предшествующих эпох. Он акцентирует внимание на генерирующем начале философии Просвещения, отказавшегося признавать границы между религиозным мировоззрением и новой этикой, культивировавшей прагматичный и критичный подход к решению жизненных проблем. Такой мировоззренческий деизм автор считает характерной чертой эпохи, предопределившей своеобразие ее интеллектуального климата³.

¹ В отечественной исторической науке Просвещение понимается как тип общественного сознания эпохи перехода от феодализма к капитализму, явившийся основой для мировоззренческого и идеологического плюрализма мнений в решении назревших российских проблем: от планов совершенствования существующих общественных отношений до критики крепостничества (См.: Анисимов Е.К. И.И. Шувалов - деятель российского Просвещения // Вопросы истории. 1985. № 7. С. 94-104; Краснобаев Б.И. Русская культура последней трети XVIII в. // Вопросы истории. 1990. № 12. С. 92-108; Гаврилов А.М. Екатерина II в русской историографии. – Чебоксары, 1986 и др.). Просветительство понимается как одно из направлений общественно-политической мысли эпохи Просвещения, которая имела антикрепостническую направленность, как считает большинство исследователей и относит начало формирования этого направления к середине XVIII в. (См. напр., Щипанов И.Я. Философия русского Просвещения. Вторая половина XVIII в. – Москва, 1991; Елифанова П.П. «Ученая дружина» и просветительство XVIII века // Вопросы истории. 1978. № 3. С. 37-53; Кузьмин А.Г. Русское просветительство XVIII века // Вопросы истории. 1978. № 1. С. 108-125; Моряков В.И. Изучение русского просветительства XVIII - начала XIX веков в советской историографии // История СССР. 1986. № 2. С. 42-55 и др.).

² Beales D. Social Forces and Enlightened Policies // Enlightened Absolutism. P. 37-53.

³ Riazanovsky N. Op. cit. P. 8-9. На это же обстоятельство обратил внимание и П. Дьюкс, который подчеркнул, что в России была предпринята попытка объединить рационализм XVIII в. с религиозной идеологией и это было свойственно эпохе в целом. (См.: Dukes P. The Emergence of Super-Powers. P. 48.)

Рассуждая о своеобразии русского варианта этих процессов, Н. Рязановский считает, что они не могли выйти за рамки национального типа модернизации и даже критицизм, свойственный Веку Разума, не смог в условиях России подняться до западноевропейского уровня и выйти за рамки этой идеологии, которая отражала историческую позицию огромной страны, меняющейся благодаря власти, поддержанной маленьким, сектантски ограниченным классом, удаленным от масс¹. Сравнивая русское Просвещение с западноевропейским, Н. Рязановский называет его лишь «слабой рябью», отразившей особый тип модернизации, который означал не возрождение эллинской цивилизации, а «квазисредневековую культуру» с заимствованием некоторых черт Запада. Важнейшей стороной русского Просвещения, наряду с критицизмом, для которого в России была благодатная почва – крепостное право, Н. Рязановский считает религиозную толерантность и космополитизм, ставший идейной основой для формирования национального самосознания и развития общественной мысли².

Противоречивая динамика идеологии Просвещения и исторической традиции детально исследуется историками, при этом в центре внимания находится синтез традиции и современности в России, который был ответом на требования эпохи Нового времени. На сложность проблемы типологии культурных традиций, в том числе и эпохи Просвещения, обращали внимание и отечественные исследователи. В частности, Ю.М. Лотман заметил, что в момент «культурного взрыва» типологически сходные исторические явления могут избирать разные дороги, поэтому сравнительный анализ должен рассматривать различные национальные культурные образцы как реализацию возможности, потерянной в первоначальных условиях, как вариацию некоей единой модели³.

Внимательно эта проблема была проанализирована М. Раевым. Говоря об относительности географических и хронологических границ, он подчеркивает, что черты, ассоциируемые с одним историческим периодом в одной стране, могут оказаться в другом хронологическом отрезе и в ином качестве в другой стране, что свойственно диалектике идей эпохи Просвещения⁴. М. Раев отмечает особую роль Просвещения для европейской истории: быстро меняющиеся реалии не позволяли современникам разглядеть определяющие тенденции развития, а Просвещение, глубоко анализируя противоречивые тенденции, стремилось гармонизировать их с вечными ценностями, понятными европейцам, обогащая теорию живым историческим опытом и внушая обществу необходимость совершенствования⁵.

Таким образом, понимание своеобразия русского Просвещения возможно только в рамках широкого культурологического подхода. Безусловно, прав Дж. Гарард: понять XVIII век и всю современную историю невозможно без

¹ Riazanovsky N. Op. cit. P. 39-40.

² Ibid. P. 96-97, 296.

³ Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – Москва, 1992. С. 28.

⁴ Raeff M. Seventeenth Century Europe in Eighteenth Century Russia // Slavic Review. 1982. Vol. 41. № 4. P. 611, 612, 619.

⁵ Raeff M. State and Nobility in the Ideology of M.M. Shcherbatov. P. 363-364.

участия России в европейском Просвещении, поскольку из большого разнообразия идей русским удалось создать синтез, который подходил к их собственным культурным основам и потребностям, продемонстрировав самой Европе скрытые от ее внимания стороны Просвещения¹.

Просвещение как неотъемлемая черта культурной истории Европы XVII-XVIII веков оказало решающее воздействие на все сферы общественной жизни европейских стран, в том числе и на формирование идеологических обоснований приоритетов внутренней и внешней политики. Потому понимание как общего, так и особенного в государственной идеологии и практике европейских монархий невозможно вне контекста просветительской философии и миропонимания, сформировавших отношение думающего общества к ключевым проблемам политической жизни.

Формирование политической доктрины русского просвещенного абсолютизма проходило под непосредственным влиянием разных, подчас противоположных идей европейского Просвещения. Интеллектуальное развитие Европы этого периода не признавало границ, претендуя на генерирование универсальных ценностей, стимулируя формирование основ реальной политики. Синкретичные по своей структуре, они появлялись на стыке разных идейных течений и отражали характер эпохи, которая их породила.

Американский историк Р. Джоунс считает это обстоятельство определяющим, без учета которого невозможно понять достоинства и недостатки политических доктрин. Он отмечает, что европейские влияния на долгом пути до Санкт-Петербурга успевали смешиваться и преобразовываться в нечто новое, ранее неизвестное - так случилось с французскими и немецкими идеями середины XVIII века, с романтической немецкой философией века XIX, которые объединились в теории и практике русского абсолютизма в своих непримиримых основах: ведущая роль государства и индивидуальная свобода, сформировав синтетическую политическую доктрину. Теория, рожденная на стыке противоположных трактовок ключевых мировоззренческих и общественных проблем, сочетала в себе идеи благотворности частной инициативы, основанные на видении свободы французскими и английскими мыслителями, и идею сильной государственной власти, заботящейся об обществе и личности, позаимствованную у немцев².

Так, например, свойственное для современников понимание «просвещенного абсолютизма» как власти, основанной на законе, во многом опиралось на идею её самоограничения, уходящую своими корнями в этику Просвещения. Целостность мировоззрения эпохи находила свое воплощение в теории «разумного эгоизма», центральной идеей которой была идея самоограничения. Своеобразное преломление этого этического императива в отношении власти выражалось в ограничении ее законами постольку, поскольку возможно ограничение законами потребностей и «обуздание страстей»³.

¹ Garrard J.G. Introduction // The Eighteenth Century in Russia. P. VI.

² Jones R. Provincial Development in Russia. P. 21-22.

³ Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. – Москва, 1987. С. 412-420.

Впервые в России формирование государственной идеологии относится к эпохе «просвещенного абсолютизма». Благодатную почву для изучения своеобразия политической доктрины русского абсолютизма дает период «просвещенного абсолютизма» Екатерины II, привлекающий пристальное внимание исследователей. Историки единодушны в понимании сложного эклектичного характера источников формирования политической доктрины русского просвещенного абсолютизма, но они по-разному видят и оценивают составляющие ее элементы: влияние французского Просвещения, германского камерализма и национальной традиции.

Все они, за редким исключением, отмечают способность императрицы к теоретизированию, не сомневаясь в присущем ей творческом подходе к передовым идеям. Сознывая трудности применения их на практике, как отмечают они, Екатерина II не скрывала своего стремления приблизить Россию к цивилизованному Западу, используя любые, самые незначительные средства. «Дух республиканизма», как определяет это Д. Гриффитс, сопровождал все ее правление, придавая ему черты открытости и лояльности¹. Многие историки считают эту черту важной составляющей ее царствования и пытаются разгадать успех ее преобразований.

Основные принципы будущих преобразований были изложены императрицей в «Наказе» для депутатов Уложенной комиссии. Проблему источников написания Наказа нельзя назвать спорной, поскольку сама императрица не скрывала масштабов заимствований основных положений программного документа своего правления из передовой мысли Европы. Идеи, которые вдохновили Екатерину II на создание Наказа, исходили из: философии Монтескье в части, касающейся общественного устройства; германского камерализма, где речь шла о социальном благополучии через бюрократизацию государства, и идей Беккариа с его пониманием юридического процесса и гуманизации наказаний². П. Дьюкс, как и Р. Джоунс, искренне восхищается способностью Екатерины II соединить воедино Монтескье, Беккариа, германский камерализм, энциклопедистов, А. Смитта и при этом остаться при своем мнении: для России более всего подходит абсолютистская форма правления, где только царь дает жизнь бюрократии, чье благополучие является гарантией законной власти³.

Не вызывает сомнения то высокое значение, которое придавала Наказу сама Екатерина II, выражая желание придать ему статус отдельного закона. Следуя основным принципам, изложенным в Наказе, она осталась верна своему видению власти и закона до конца правления и в «Антидоте», отвергая все обвинения в деспотизме, опиралась на положения Наказа⁴. Я. Грей не без пафоса называет Наказ «политической исповедью», фанфарой, известившей Европу о начале новой эры на Востоке. В то же время историк критически оценивает творческие способности императрицы, считая Наказ «фасадом», прикрываю-

¹ Griffiths D. Catherine II. The Republican Empress. P. 323-344.

² Dukes P. The History of Russia. P. 10; De Madariaga I. Catherine the Great. P. 292-293; Riazanovsky N. Op. cit. P. 18.

³ Dukes P. The Making of Russian Absolutism. P. 147.

⁴ Griffiths D. Catherine's Charters: A Question of Motivation. P. 71.

щим ее личные амбиции, не видит ни в тоне Наказа, ни в его содержании опоры на русский опыт¹.

Однако столь поверхностная оценка, по мнению большинства исследователей, далека от глубокого научного анализа. А. Моррисон, специально занимавшийся проблемой истоков реформаторской деятельности Екатерины II, подчеркивает историзм Наказа, напоминая, что работа императрицы над ним совпала по времени с угасанием работы Уложенной комиссии, собранной еще Елизаветой Петровной, уроки которой были, несомненно, учтены императрицей при написании Наказа².

Диалектика устремлений императрицы, основанных на ее личных убеждениях, и реальных потребностей страны находится в центре внимания исследователей. Понимая «просвещенный абсолютизм» как политическую власть, стремящуюся гармонизировать общественные интересы с целью поступательного развития страны, они стремятся проследить механизм формирования сложного компромисса, в основе которого, по их мнению, лежала синтетическая политическая доктрина, опирающаяся на национальный опыт. П. Дьюкс, например, отмечает, что, несмотря на эклектизм идеологии Наказа, Екатерине II удалось дать ответы на все вопросы, поставленные перед ней реальностью, если не прямо, то «между строк»³.

Стремление императрицы максимально соответствовать российским реалиям подчеркивает и А. Лентин, который убежден, что Наказ представляет собой начертание основ русского варианта просвещенного абсолютизма, для которого в понимании императрицы характерно не только реализация задач «цивилизованного государства», где права и обязанности каждого гражданина ясны и гарантированы, но и укрепление самодержавия как единственной работоспособной формы управления такой большой империей, как Россия⁴.

Исследователи убеждены, что проникнуть в суть Наказа как политической доктрины и определить его роль в эволюции идеологических основ русского абсолютизма невозможно без анализа его основных положений в контексте теории и философии власти, которая активно разрабатывалась европейскими мыслителями и была тесно связана с историческим опытом европейских стран.

Д. Гриффитс, внимательно анализируя эволюцию ключевых проблем эпохи: свободы, либерализма, конституционализма - пытается определить, в каком смысле и в какой степени они могли быть приемлемы для России. Он отмечает, что сама концепция «свободы» была позаимствована императрицей у Ш. Монтескье и служила основанием для ее теоретизирований о «равенстве», «законе» и «конституции». Ш. Монтескье, как известно, считал индивидуальную свободу мало достижимой для государств с большой территорией, поскольку деспотические политические структуры таких обществ несовместимы с ней. Не возражая в целом против типологии Ш. Монтескье, императрица, как

¹ Grey I. Catherine the Grate. Autocrat and Empress of All Russia. – London, 1961. P. 147-150.

² Morrison A. Catherine II Legislative Commission. P. 474.

³ Dukes P. The Making of Russian Absolutism. P. 147.

⁴ Lentin A. Op. cit. P. 84.

полагает Д. Гриффитс, все же искала средство для реализации индивидуальной свободы в условиях России и видела его в «букве закона»¹.

Исследователь глубоко анализирует отношение императрицы к закону как гарантии свободы и подчеркивает, что она видела в нем основу абсолютной монархии, ответственной за политическую свободу граждан как состояние, обратно пропорциональное страху, который испытывает человек перед другими членами общества². Свобода, ассоциировавшаяся в ее понимании с безопасностью и соблюдением закона (а не с разделением властей, как у Монтескье), могла быть гарантирована лишь совершенными «мудрыми законами»³. Такое понимание свободы близко к трактовкам этого понятия английским Просвещением эпохи ранних буржуазных революций.

Д. Гриффитс напоминает, что представления императрицы были продиктованы не только реалиями России, где дефицит индивидуальной свободы был чертой государственной традиции и не мог составить альтернативу сильной верховной власти, но и общими представлениями об абсолютной монархии XVIII века, которой индивидуальная свобода вообще была чужда. Он подчеркивает, что власть, гарантирующая индивидуальные права, как и равенство перед законом, лишь в рамках определенных социальных групп, не вызывает симпатии с точки зрения исторической перспективы, но необходимо помнить, что это соответствовало «духу времени», в рамках которого корпоративные привилегии были «посредниками» между индивидом и государством. А Екатерина II, по его мнению, стремилась к закреплению этой системы, тесно увязав свободу с законом, она стала первой в истории России, кто формально встал на защиту свободы как таковой⁴.

Д. Гриффитс отмечает, что понять своеобразие «просвещенного абсолютизма» Екатерины II невозможно без представления о том, как понимала это сама императрица: основной своей задачей она считала избавление от деспотизма и установление «республиканского правления», то есть власти, основанной на законе, укрепление системы образования и просвещения нации, при этом сама стремилась быть примером для своих подданных в деле служения «общему благу»⁵.

Д. Гриффитс отмечает здравый и осознанный подход к доставшемуся ей историческому наследию: вместо критики и ниспровержения основ она предпочла изнурительный труд – последовательную систематизацию российского

¹ Griffiths D. Catherine II. The Republican Empress. P. 326, 334.

² ejusd. Catherine's Charters: A Question of Motivation. P. 3.

³ Ibid. P. 80.

⁴ Griffiths D. Catherine II: The Republican Empress. P. 325. Необходимо отметить, что А.Б. Каменский согласен с трактовкой Д. Гриффитса и принимает аргумент, позаимствованный им у немецкого историка Д. Герхарда: привилегии в феодальном обществе выполняли для индивида или сословия ту же функцию, какую в современном мире исполняет основополагающее представление о равенстве перед законом, равного гражданства, о правах человека и гражданина.

⁵ Griffiths D. Catherine II. Jabirbucher... P. 335.

законодательства¹. При этом основной своей целью она считала создание в России корпоративно-структурированного общества, которое она получила от своих предшественников сравнительно эндогамным².

В целом исследователи, отмечая наличие тесной связи между периодами правления Петра I и Екатерины II, подчеркивают, что внутренняя целостность процесса эволюции властных основ эпохи абсолютизма обеспечивалась общностью целей, которые они решали – создание цивилизованной власти. В то же время историки отмечают различия в понимании монархами путей воплощения идеальной модели власти, которые нашли отражение в разном понимании ими роли закона.

Так, Р. Харрис указывает, что оба правления решали сходные задачи по систематизации и унификации власти и управления, и объединяет их деятельность одним периодом - периодом «административного абсолютизма». Он отмечает все же значительное отличие периода «просвещенного абсолютизма» от предыдущего этапа. Он подчеркивает, что «просвещенный деспот» – это не просто реформатор, это преобразователь, чьи законы отражают реальные потребности населения, это не тот, кто напрягает силы общества по пути радикальных реформ, а тот, кто и «источает изобилие»³.

Так, например, Р. Джоунс считает, что благодаря яркой политической харизме Петру I удалось порвать с религиозными предрассудками и принять доктрины, сформировавшиеся в лютеранской Германии, суть которых исследователь видит в соединении рационализма и естественного закона с лютеранскими представлениями об обязанностях, когда суверены несут личную ответственность за благосостояние своих подданных⁴.

Полицейское государство. Д. Гриффитс более сдержан в своих оценках истоков патернализма русской модели «полицейского государства»: он отмечает, что отношение императрицы к своим «гражданам» как к детям противостояло протестантскому видению личности и приближало ее к российской исторической традиции⁵. П. Дьюкс, подчеркивая сложный характер формирования идеологии просвещенного абсолютизма, указывает, что Петр I предпринял попытку соединить рационализм XVIII века с уже существовавшей в России религиозной идеологией, которую великий реформатор и не думал отвергать. П. Дьюкс, вопреки Р. Джоунсу и отчасти Д. Гриффитсу, подчеркивает, что патернализм, доставшийся Российской империи от Петра I, исходил не столько от камералистской философии, сколько от традиционной для православия сакрализации верховной власти. Именно эту черту историк считает основой, на ко-

¹ ejusd. Catherine's Charters... P. 89. Д. Гриффитс – профессор истории университета Северной Каролины, один из представителей нового поколения в американском россиеведении, специалист по истории русской общественной мысли.

² Ibid. P. 59.

³ Harris R.W. Absolutism and Enlightenment. 1660-1789. P. 2-4.

⁴ Jones R. Op. cit. P. 11.

⁵ Griffiths D. Op. cit. P. 331.

торой Екатерина II построила свою систему, где правитель находится над законом, всем обществом и над всеми разногласиями¹.

Диалектика Просвещения. Д. Гриффитс, однако, усматривает «злую иронию», преследовавшую законотворческую деятельность императрицы: мысли и идеология Монтескье уходили в прошлое вместе с быстро меняющейся Европой, поэтому связь с европейским сообществом терялась, не успев установиться². Екатерина II, верная своим принципам, сформировавшимся задолго до Великой Французской революции, к концу своего царствования была вынуждена дистанцироваться от «республиканизма», «конституционализма», «свободы» - понятий, которым революция дала новое содержание. В этом Д. Гриффитс видит трагедию Екатерины II как реформатора³.

И все же, благодаря высоким идеалам, внушаемым Просвещением, императрице, по мнению исследователей, удалось заложить основы новой политической культуры, в основе которой лежали компромисс и ощущения возможного, что нашло свое реальное воплощение в основных направлениях реформаторской деятельности.

О неоднозначном отношении Екатерины II к идеям Ш. Монтескье, нашедшем свое выражение в Наказе, пишут П. Дьюкс, И. де Мадариага, Р. Джоун, Н. Рязановский, М. Раев и другие исследователи.

Так, например, П. Дьюкс, оценивая убеждения императрицы с точки зрения ее реальных действий, приходит к выводу, что она скорее отвергала либеральные взгляды Ш. Монтескье, чем принимала их: особенно ее не устраивали положения его концепции, касающиеся индивидуальных свобод знати, и хотя она с пониманием относилась к идее разделения властей, считая ее средством от деспотизма, все же на практике воздерживалась от ее реализации. П. Дьюкс подчеркивает, что в условиях российских реалий во время восстания Е. Пугачева Екатерина II продемонстрировала на практике совершенно иную правительственную философию, когда, обращаясь к знати Казани, провозгласила себя «хозяйкой Казани» и подчеркнула, что безопасность и благосостояние подданных неразрывно связано с ее собственным, - в этом П. Дьюкс видит верность императрицы патерналистским началам верховной власти, традиционно свойственным для России⁴.

Взвешенный реализм в понимании свободы императрицей отмечает и И. де Мадариага. Екатерина II не могла, по ее мнению, быть эгалитаристом, поскольку «свобода» понималась ею как равенство в рамках корпоративной общественной структуры. Однако, как указывает исследовательница, ей свойственно было стремление поставить процесс реализации свободы внутри отдельных социальных групп в рамки закона. В этом она видит причину законодательной активности императрицы, особенно в области социальной политики⁵.

¹ Dukes P. The Emergence... P. 48.

² Griffiths D. Eighteenth Century Perception of Backwardness. P. 471.

³ ejusd. Catherine II The Republican Empress. P. 343.

⁴ Dukes P. The History of Russian Absolutism. P. 110-111.

⁵ De Madariaga I. Catherine the Great. A Short History. P. 204, 334.

Именно в таком понимании свободы Екатериной II исследователи видят основную причину ее споров с Ш. Монтескье, который считал деспотизм эндемической чертой России. Она же искренне верила, что Россия может и должна управляться законами, всячески подчеркивая преемственность этой политики с деятельностью Петра I, лояльно относилась к его деспотизму, считая успех его преобразований исторической гарантией процесса создания в России «законной монархии».

Столь очевидная непоследовательность императрицы в ее отношении к свободе и деспотизму бросалась в глаза современникам. Как отмечает Н. Рязановский, наряду с весьма неоднозначными оценками ее царствования теми идеологами Просвещения, которые в целом положительно отзывались о ее правлении - Вольтер, Дидро, д'Аламбер, существовала и внушительная идеологическая оппозиция в лице Руссо, Мабли, Рейналя, которые оценивали ее реформы весьма критически¹. Эта же непоследовательность послужила основанием для серьезной критики Екатерины II ее потомками и обвинений в лживости, лицемерии и даже коварстве. Характерна в этом отношении позиция американского историка Я. Грея. Он обвинил Екатерину II в чрезмерной амбициозности и считал основными стимулами ее деятельности желание удержаться у власти и сохранить имидж «просвещенного монарха» в глазах Европы. Историк утверждал, что плохое знание реальности императрица компенсировала «умелым компиляторством», служившим ей «удобным фасадом» в борьбе за европейское общественное мнение². Однако необходимо отметить, что подобные трактовки мотивов и идеологических истоков преобразовательной деятельности Екатерины II скорее исключение, чем правило.

подавляющее большинство историков склонны видеть в непоследовательности и противоречивости ее идейно-теоретических убеждений следствие мировоззренческого эклектизма, свойственного эпохе в целом³. Р. Джоунс, подтверждая эту мысль, приводит пример причудливого сочетания идеи «закона» и «свободы». Подчеркивая решающее влияние на Екатерину II типологии Монтескье, которая предполагала разницу между тиранией как произволом монарха и «законным деспотизмом» как властью, находящейся в рамках закона, Р. Джоунс указывает на интересное преломление идей физиократов в этом контексте. Он отмечает, что убежденность физиократов в «естественном деспотизме»

¹ Riazanovsky N. Op. cit. P. 20-21. Суть разногласий раскрыта О.А.Омельченко в рамках правового подхода к анализу идеологических постулатов Наказа. Он отмечает, что проповедуемое Екатериной II равенство перед законом состояло в подчинении всех одним и тем же законом, что не предполагало равного применения закона в равной мере, а это было важнейшим положением в учении просветителей. - См.: Омельченко О.А. Кодификация права в России в период абсолютной монархии (вторая половина XVIII века). – Москва, 1989. С. 37-38, 75.

² Grey I. Op. cit. P. 143, 147, 151.

³ А.Б. Каменский справедливо, на наш взгляд, критикует П.С. Грацианского за упреки в адрес Екатерины II в том, что она «выхолащивала» революционную сущность теории «естественного права», которая предусматривала ликвидацию сословного строя, юридическое равенство граждан, свободы и так далее, и подчеркивает, что у Монтескье нет требований ликвидации сословий, а лишь законодательное закрепление их прав и свобод как гарантий от деспотизма.

природы, развивающейся по своим законам, понималась императрицей более универсально: поскольку общество должно знать законы природы и не нарушать их, постольку и политическая власть должна считаться с законами развития экономики и общества, ограничивая свое вмешательство рамками «законного деспотизма»¹. Историк считает это иллюстрацией того, что на деле русские и французские мыслители были единомышленниками «лишь на расстоянии», а единство просветительской идеологии не могло до конца затушевать различий в реальности.

Достаточно убедительно, на наш взгляд, причину этих различий сформулировал Н. Рязановский, который отметил, что европейские философы стремились улучшить европейское общество, а в России его предстояло создать². Как отмечает И. де Мадариага, необходимость решения столь сложных задач подталкивала императрицу к «оригинальным» решениям: на фоне ментального климата эпохи, нацеленного на разрешение противоречий между центральной властью и корпоративными силами общества, ей, в отличие от ее предшественников в России и современников на Западе, пришлось не столько заниматься поисками компромисса, сколько придавать правовую форму силам, способным сформировать корпоративные интересы³.

Итак, по общему убеждению авторов, проводимое императрицей в Наказе понимание свободы ограничивалось рамками корпоративного общества, что полностью соответствовало философии власти просвещенного абсолютизма, сформулированной европейскими мыслителями. Однако, как указывают исследователи, специфика России, состоявшая в традиции сильной государственной власти и слабом развитии корпоративных начал в сословном строе страны, наложили отпечаток на понимание Екатериной II своих задач и путей их решения. Это понимание формировалось и развивалось в рамках господствующего мировоззрения и, как правило, не выходило за пределы сложившихся политических теорий, основной из которых была теория «общего блага».

Теория «общего блага» была хорошо известна в России еще с конца XVII века, активно воплощалась в жизнь Петром I, и следование ее основным положениям рассматривается исследователями не только как важнейший акт преемственности политики Екатерины II с ее великим предшественником, но и как доказательство реализма императрицы, которая в своих намерениях опиралась на уже имеющуюся структуру управления в виде иерархии чиновников, основанной на «Табели о рангах».

Историки справедливо усматривают тесную связь между изложенной в Наказе моделью государственной власти и роли бюрократии в ней с ключевыми положениями доктрины «*полицейского государства*» и теории «общего блага» как ее идеологического обоснования.

По-разному оценивая идеологию и практику «полицейского государства», они едины в понимании того, что его необходимо рассматривать как об-

¹ Jones R. Provincial Development in Russia. P. 19.

² Riazanovsky N. Op. cit. P. 19.

³ De Madariaga I. Catherine the Great. A Short History. P. 207.

щеевропейское явление, несмотря на значительную специфику национальных моделей. М. Раев, например, считает, что такой подход позволит не только увидеть своеобразие исторического развития европейских стран в эпоху революций и радикальных реформ, но и проследить историческую динамику отдельных составляющих этой универсальной политической доктрины, оценить влияние, которое они оказали на формирование цивилизационной идентичности европейского сообщества к началу XX века¹. Однако сама степень универсальности и национальной специфики видится и определяется исследователями по-разному.

Подчеркивая универсальность модели «полицейского государства», И. де Мадариага убеждена, например, что эта доктрина и основные принципы реальной политики неразрывны с Просвещением и в своей основе были гораздо ближе к нему, чем к практическим нуждам. Она отмечает, что как классическая германская модель «полицейского государства», вошедшая в историю как «камерализм», так и ее национальные варианты в Австрии и России вообще непонятны вне контекста Просвещения².

Исследовательница подчеркивает, что цели, средства, стиль управления, язык, на котором изъяснялись политики, - все это отражало ценности Просвещения. И. де Мадариага, усматривая тесную связь идеологии камерализма с законодательной деятельностью Екатерины II в 1775-1786 годах, преувеличивает, на наш взгляд, степень зависимости императрицы от теоретических моделей, поскольку утверждает, что ее законотворческая политика характеризовалась слабой связью с исторической традицией³. В то же время исследовательница подчеркивает не разрушительные, а созидательные стороны политики императрицы, помня о ее убежденности в том, что против традиции можно бороться только традицией, она отмечает, что чрезмерная детализация законодательства стала не только отражением индивидуальности Екатерины II, но и заложила базовые параметры для администрации и права последующих исторических периодов⁴. Подчеркнутое внимание И. де Мадариаги к общеевропейским чертам основных принципов концепции «полицейского государства» способствовало расширительному толкованию ею сути «камерализма» как хорошо организованного государства, мобилизующего использование ресурсов страны для общей пользы⁵.

М. Раев, напротив, предлагает более узкое и конкретное понимание «полицейского государства» как института, призванного обеспечить безопасность и благополучие населения данной территории путем административного управления общественной жизнью⁶.

Такая трактовка позволяет М. Раеву сконцентрироваться на практике администрирования, проследить ее историческую динамику в тесной связи со

¹ Raeff M. The Well-Ordered Police State. P. 3-4.

² De Madariaga I. Catherine the Great. A Short History. P. 69.

³ Ibid. P. 306.

⁴ Ibid. P. 204.

⁵ Ibid. P. 69.

⁶ Raeff M. The Well-Ordered Police State. P. 5. Эти трактовки отличаются от более позднего понимания «полиции», как уголовного контроля за соблюдением закона и порядка.

спецификой национальной политики. Он подчеркивает общеевропейский характер этого типа государства и видит в нем универсальное средство западной цивилизации для перехода к индустриальной эре. Историк отмечает, что «полицейское государство» со всеми своими институтами сумело стать средством для воплощения воли суверена и элиты и значительным фактором в последующей динамичной трансформации¹.

Подчеркивая мысль о том, что, хотя самые общие черты развития Европы этого периода имели тенденцию повторяться в большинстве стран, все же результаты таких повторений были всегда специфичными, так как исторический контекст нововведений был всегда иным². М. Раев рисует процесс исторической динамики «полицейского государства» не только во временном, но и в пространственном измерении, формируя подходы для компаративного исследования, учитывающего специфику России. Основанием для сравнения, по мнению исследователя, может служить общая для всех европейских стран XVIII века черта – борьба за баланс сил между государством и обществом³.

М. Раев выделяет две основные составляющие теории и практики «полицейского государства»: государственный контроль и индивидуальную инициативу, вариативность взаимопереплетения которых и составляет основу для исторических моделей камерализма. Автор хотя и подчеркивает, что теоретическое обоснование целям и практике «полицейского государства» было дано Просвещением, все же глубинные причины изменения роли этой доктрины от восхождения к упадку усматривает в социально-экономическом развитии западной цивилизации.

Исследователь отмечает, что революционность доктрины камерализма для политической культуры Запада заключалась в объединении идей «прогресса» как бесконечного процесса и «всеобщего блага» как его цели. Неслучайно поэтому идеи активной роли государства в пробуждении частной инициативы раньше всех зародились в Англии, но там же бурный процесс индивидуализации производства привел к пониманию того, что прогресс и благосостояние общества не означают благосостояния каждого его члена в отдельности, обнаружив тем самым противоречие внутри идеологии и практики «полицейского государства» между целями и средствами. Английская модель, как указывает автор, продемонстрировала несовместимость индивидуальной созидательной энергии с патерналистскими началами «полицейского государства», сделав исторический выбор в пользу первой составляющей. Освобождение труда как средство достижения благосостояния каждого и этические императивы защиты индивида в обществе стали нравственными ценностями и способствовали из-

¹ Ibid. P. 3, 251.

² Ibid. P. 4. Необходимо отметить близость позиций М. Раева и А. Авреха, чьи научные подходы импонировали американскому исследователю, который также склонен видеть в камералистских чертах просвещенного абсолютизма такую форму государственной власти, способствовавшую буржуазному развитию, став важнейшей предпосылкой национальной модели индустриализации. См.: Аврех А.Я. Русский абсолютизм и его роль в становлении капитализма в России // История СССР. 1968. № 4. С. 92.

³ Raeff M. Op. cit. P. 229.

менению политической культуры Западной Европы, где идеология «полицейского государства» была признана устаревшей уже к середине XVIII века¹.

Иной представляется М. Раеву картина на востоке Европы, где исторические условия были другими. Германия представляет собой, по мнению исследователя, компромиссный вариант, где удалось найти гармоничные формы сосуществования государственных и частных начал, создав прочные гарантии развития индивидуальной инициативы в государственной оболочке. Сравнивая результаты деятельности «полицейского государства» в Германии и России, историк отмечает, что в российском варианте противоречие между теорией и практикой просвещенного абсолютизма были гораздо ощутимее, чем в Западной Европе, поскольку экономическая отсталость страны, господство крепостничества заставляли государство увеличивать степень своего присутствия во всех сферах общественной жизни на протяжении всего XVIII века, что препятствовало реализации основной цели политической доктрины «полицейского государства» - пробуждению и развитию частной инициативы и неизбежно вело к глубокому конфликту между властью и обществом².

Таким образом, М. Раев представляет развитие европейской модели «полицейского государства» в виде «спектра» и определяет место России в самой крайней его зоне, где специфические черты преобладают над общеевропейскими.

Такой подход близок многим исследователям. Так, например, Р. Джоунс, подчеркивая общеевропейский характер динамики модели «полицейского государства», также тесно увязывает ее с пониманием европейцами «прогресса» и «общего блага»³. Исследователь анализирует историческую роль «полицейского государства» в контексте взаимоотношений верховной и местной властей через институт взимания налогов. Р. Джоунс, сравнивая налоговую политику в странах Западной и Восточной Европы, приходит к выводу, что если в крупных атлантических державах (Англия и Франция) проблема размера государственных налогов на местные структуры широко обсуждалась в парламентах и отчасти решалась за счет колониальной политики, то в Австрии, Пруссии и России налоговая политика была произвольной, односторонней, что вело к бесконтрольному праву государства повышать свои доходы за счет «оскудения провинции»⁴. Поэтому идеологию «полицейского государства» Р. Джоунс рассматривает как средство упрочения позиций государства, с одной стороны, и с другой - как возможность увеличения платежеспособности провинции. Автор отмечает, что Пруссии - родине камерализма - удалось на практике создать такую бюрократию, которая сумела мобилизовать ресурсы страны во всех сферах (экономике, политике, науке и т.д.). Австрия, проводшая ряд реформ центрального и местного управления, сумела приобщиться к самой совершенной административной системе Европы, доказав универсальность германского опыта⁵.

¹ Raeff M. Op. cit. P. 229.

² Raeff M. Op. cit. P. 252-254.

³ Jones R. Provincial Development of Russia. P. 2, 9.

⁴ Jones R. Op. cit. P. 8-10.

⁵ Ibidem.

Однако историк подчеркивает особое отношение России к этому процессу: декларирование Екатериной II в Наказе целей «полицейского государства» не соответствовало реальным возможностям российской провинции. Понимание этого императрицей было основано на естественных трудностях: большие территории, которые требовали больших расходов и затрудняли повторение в российских условиях европейского опыта, что диктовало необходимость компромисса между идеей, потребностью и реальностью при обязательном сохранении своего имиджа в глазах Европы¹. Вписываясь в «спектр», предложенный М. Раевым, концепция Р. Джоунса детализирует её положения и оставляет необходимое пространство для вариативности исторического творчества политической элиты и представляет последующее развитие России в меньшей степени предопределенным жесткими рамками «спектра». Таким образом, исследования М. Раева и Р. Джоунса динамики модели «полицейского государства» подтверждают тезис о единстве основ формирования идеологических доктрин абсолютных монархий, особенно восточной части континента, и в то же время не исключают существенной специфики национальных моделей.

Неслучаен поэтому их интерес к творческим способностям Екатерины II, проявившимся в написании Наказа, и последовательной реализации его положений в дальнейшем. По их мнению, ей удалось отыскать механизм компромисса между желаемым и возможностями, которыми она располагала. Так, М. Раев категорически не согласен с теми, кто чрезмерно акцентирует внимание на элементах теоретических и практических заимствований, обвиняя Екатерину II в неспособности самостоятельно мыслить. Он подчеркивает критический прагматизм императрицы в подходе к решению российских проблем, позволивший ей не только считаться с российской спецификой, но и, по выражению М. Раева, существенно обогатить саму теорию «полицейского государства» чертами национального исторического опыта.

Наиболее полно, по мнению М. Раева, Екатерине II удалось реализовать свои творческие способности в ходе практической деятельности, при решении, в частности, национального вопроса. Воодушевившись идеями космополитизма, она снискала славу самой лояльной и просвещенной императрицы благодаря последовательной настойчивости в проведении политики религиозной толерантности, что для передовых стран Европы так и осталось нерешенной проблемой. М. Раев не без симпатии отмечает, что императрице удалось выстроить такую политику в отношении с национальными меньшинствами, которая отличалась как от построений философов XVII-XVIII веков, так и от известной практики «полицейского государства». По замыслу императрицы, русские должны были играть роль «культурного авангарда» в жизни национальных меньшинств: не ущемляя их национального достоинства, сохраняя черты их идентичности, она сама стимулировала процесс консолидации элит на национальном уровне, всячески способствовала максимальному включению их в процесс изменения собственных обычаев и национальных черт жизни, мобилизуя их на службу государству. М. Раев подчеркивает, что этим ей удалось не

¹ Ibid. P. 15-16.

просто расширить теоретические возможности идеологии «полицейского государства», но и обнаружить ее глубинный парадокс – унификацию и уравнивание экономических и культурных уровней развития на фоне политики государственной терпимости к национальной самобытности. Историк считает даже, что успех Екатерины II в области национальной политики – предмет внимания философской антропологии, который еще ждет своего исследователя¹. Очевидно, что к разработке этой проблематики исследователи приступили в рамках имперской парадигмы. Таким образом, от мысли о национальных чертах в идеологии абсолютизма на фоне европейских заимствований перейти к имперской парадигме.

Р. Джоунс, на наш взгляд, очень точно определяет суть этой политики императрицы как формирование «компромиссной политической культуры», основы которой были сформулированы в Наказе, призванной найти равновесие не только между различными идеологиями, но и оказаться в соответствии с непростыми российскими реалиями².

Итак, по мнению исследователей, Екатерине II не без труда удалось на страницах Наказа описать непростые российские реалии в категориях европейских политических доктрин. Идеей, которая разрешала возникшие логические противоречия, стала мысль о единственном источнике права в лице просвещенного монарха, который воспитывает своих поданных в духе подчинения закону. В теоретических построениях Наказа это выглядело как «самоустранение (а значит самоограничение) монарха» от функции непосредственного управления при сохранении в его руках всей полноты власти.

Таким образом, несмотря на определенные разногласия в оценке меры и степени идеологических составляющих, политической доктрины российского варианта просвещенного абсолютизма, изложенного в Наказе, можно констатировать признание исследователями трех важнейших источников, повлиявших на формирование Екатериной II образа государственной власти: французское и английское Просвещение, немецкий камерализм и национальная государственная традиция.

Анализируя содержание Наказа с точки зрения воплощения его положений в конкретных преобразовательных инициативах (даже если они оставались всего лишь проектами), исследователи приходят к выводу, что понимание места, роли и структуры государственной власти, изложенное в программном документе царствования Екатерины II, позволяло России держаться в интеллектуальной орбите Германии, несмотря на сильное французское и более сдержанное английское влияние. Д. Гриффитс, Р. Джоунс, А. Лентин, М. Раев и другие исследователи отмечают, что если в формировании представления о социальной структуре общества, политике в области сословий налицо сильное влияние идеи гуманизма во французском ее толковании, в понимании свободы и безопасности как её важнейшем условии – налицо английское влияние, то в сфере административного управления с идеей «естественного закона», понимающего

¹ Raeff M. Op. cit. P. 231, 248, 249.

² Jones R. Op. cit. P. 23.

обязанности выше привилегий и воспитывающего человека, ответственного за общество и государство, - бесспорно доминирование примера Германии¹.

Н. Рязановский как бы подтверждает своими рассуждениями сложную систему влияний, также видит преобладающее влияние Германии на процесс формирования облика государственной власти в России XVIII века, как и последующей эпохи. Он акцентирует внимание на жестком прагматизме в отношении к западным влияниям Екатерины II, которая прибегала к фразеологии Просвещения для обоснования своей правоты. Н. Рязановский, с симпатией относясь к результатам внутренней политики «просвещенного абсолютизма», оригинально и точно выразил мысль о своеобразии отношения России к идеологии Просвещения: просвещенная или нет, русская монархия заслужила уважение в соответствии с более старым и более принятым даже тогда критерием - власти и успеха, тем более что именно этот образ России так восхищал европейских философов - просветителей².

Таким образом, историки по-разному оценивают степень и роль западных влияний на формирование политической доктрины просвещенного абсолютизма в России второй половины XVIII века. Но все они отмечают преобладающее влияние восточноевропейской модели политической власти и целенаправленный прагматизм императрицы в решении самых разных проблем.

Таким же прагматичным, подчас утилитарным, был ее подход к выбору идеологических обоснований реальной политики, что объясняет идеологический эклектизм ее политических убеждений на фоне жесткой последовательности в отстаивании приоритетов верховной власти монарха. В реальной политике такой сложный компромисс обретал форму классического патернализма, свойственного просвещенному абсолютизму вообще.

Д. Гриффитс, например, отмечает, что патернализм в политических доктринах монархов Европы был приметой времени и понимался как согласие с законом граждан для достижения цели, которую ставит перед ними абсолютный монарх, находящийся над корпоративной общественной структурой и обладающий всей полнотой политической власти³.

М. Раев обращает внимание на универсальность патернализма как формы решения разных проблем в рамках политики просвещенного абсолютизма. В области национальной политики такой подход опирался на идею Просвещения о существовании разных стадий культурного развития и способности народов шагнуть на более высокую ступень через целенаправленную политику. В другом контексте - патернализм над крестьянами - в отношении к ним, как к детям, что оправдывало вмешательство в их частную жизнь, даже против их воли⁴. И. де Мадариага отмечает, что патернализм был присущ Веку Разума и умело маскировался языком «прогресса». Д. Гриффитс более сдержан в своих оценках истоков патернализма русской модели «полицейского государства»: он отмеча-

¹ Griffiths D. Op. cit. P. 341; Jones R. Op. cit. P. 6; Lentin A. Op. cit. P. 117.

² Riazanovsky N. Op. cit. P. 20.

³ Griffiths D. Catherine II. The Republican Empress. P. 327.

⁴ Raef M. Op. cit. P. 247.

ет, что отношение императрицы к своим гражданам, как к детям, противостояло протестантскому видению личности и приближало ее к российской исторической традиции¹. Близок к такому пониманию природы русского патернализма и П. Дьюкс, который подчеркивает, что патернализм исходил не столько от мералистской философии, сколько от традиционной для православия сакрализации верховной власти. Именно эту черту историк считает основой, на которой Екатерина II построила свою систему, где правитель находится над законом, всем обществом и над всеми разногласиями².

Неслучайно отказ Екатерины II от деспотизма стал составной частью её понимания монархии как власти, основанной на законе, а закона как обязанности всех, в том числе и государя, перед обществом. Д. Гриффитс убеждён, что логически обоснованная в Наказе «модель справедливости» и «концепция свободы» отразила характерные черты политического самосознания Европы той эпохи³.

На эту же сторону Наказа как зеркала мировоззренческих ценностей эпохи в трактовке Екатерины II обратили внимание и другие исследователи, отметившие, что принципы, изложенные в программном документе царствования, усиливали власть поддержкой общественности, изменяли источники общественной жизни от государственного насилия к сотрудничеству между самодержавием и дворянством⁴.

Итак, Наказ, по признанию большинства специалистов, сыграл видную роль в истории российского законодательства и формировании традиции официальной идеологии, оправдывающей в глазах общества намерения власти. Екатерине II, опираясь на идеи европейского Просвещения, удалось сформулировать задачи перед российским обществом и определить пути их решения, способствуя пробуждению общественного сознания и инициативы. Стратегия преобразований, изложенная в Наказе, должна была пройти непростой путь до реального воплощения во всех звеньях российского общества. Как показывают исследования историков, этот путь состоял из сложных компромиссов между желаемым и действительным, задачами и возможностями, целями и средствами.

Идеологическая доктрина российского абсолютизма неизменно была ориентирована на утверждение роли закона в жизни общества. Под влиянием

¹ Griffiths D. Op. cit. P. 331.

² Dukes P. The Emergence of Super-Powers. P. 48.

³ Griffiths D. Catherine II. The Republican Empress. P. 338, 339.

⁴ Напр.: Griffiths D. Catherine's Charters: A Question of Motivation. P. 71; Jones R. Op. cit. P. 293. Munro G. Charter to the Towns Reconsidered: the St. Petersburg Connection // Canadian - American Slavic Studies. 1989. Vol. 23. № 1. P. 17-35. В целом высокая оценка Наказа, его содержания и роли дается в работах российских историков. О.А. Омельченко, например, считает Наказ вполне самостоятельным произведением, отразившим взгляды Екатерины II: ей удалось существенно переработать идеологию умеренного просвещения и приблизить ее к условиям общественного и государственного строя России (См.: Омельченко О.А. Указ. соч. С. 34-36); такую же оценку содержания Наказа мы встречаем у известного русского историка права Ф. Тарановского, высказанную им еще в 1904 г. (См.: Тарановский Ф. Политическая доктрина в Наказе императрицы Екатерины II / Сборник статей по истории права, посвященный М.Ф. Владимирскому-Буданову. – Киев, 1904. С. 45-85.

времени становилась актуальной идея приоритета закона как источника права в жизни российского общества. Внедрение этого принципа в сознание всех общественных групп, включая чиновников, предполагало иную, более высокую степень публичности законотворческого процесса. К тому же движение в сторону гражданского общества как общая тенденция эволюции с точки зрения исторической перспективы обнаружило насущную потребность в реформировании организации государственных институтов и оформлении полноценной сословной структуры.

Характерная черта идеологии Просвещения – космополитизм. Также образ не был отягощен религиозными предубеждениями, поскольку просветители вели непримиримую борьбу с католицизмом. Вольтер приветствовал петровскую секуляризацию, подчинение церкви государству.

Революция в корне изменила ситуацию: на смену космополитизму с его терпимым отношением к идее подчинения церкви государству и проведения секуляризации пришел национализм.

Создание негативного образа России в глазах Европы берет своё начало после Великой французской буржуазной революции из целенаправленной антирусской пропаганды якобинцев и термидорианцев. «Развенчание» Екатерины II стало обязательным атрибутом интеллектуальной культуры Европы, особенно после подавления восстания Т. Костюшко в Польше, которая стала рассматриваться как сфера французских интересов. Целью этой пропаганды было «отсечение» России от Европы. Вместо прежней идеологической оппозиции «свободная Франция – угнетенная вся остальная Европа» (включая Россию) приходит другая «цивилизованная Европа – варварская Россия».

Негативный образ России утвердился в период Директории и Консульства Наполеона Бонапарта во Франции, после возвращения в страну эмигрантов из России, которые в своих публикациях «клеили» крепостное право, и то, о чем просветители знали только вскользь, у них обрело характер главного содержания русской жизни.

Таким образом, к началу XIX века укрепился негативный стереотип в восприятии России, что не могло не отразиться на характере идеологических течений внутри страны. Другим направлением, оказавшим влияние извне, являлся германский романтизм, который строил свои представления на убежденности в непреходящей ценности национального опыта, вводя в научный оборот категорию «дух нации».

К этому времени условия генезиса идеологической доктрины русского абсолютизма значительно усложнились. Кроме негативного внешнего фона, качественно изменились и внутренние условия: произошло, по выражению Н. Рязановского, «разделение путей», в стране появилась политическая оппозиция, а вместе с ней – альтернативные идеологические доктрины¹. Всё это существенным образом сказалось на формировании идеологических основ абсолютистской власти в XIX веке. Перед властью встала жизненная необходимость адап-

¹ Riazanovsky N. A Parting of Ways: Government and the Educated Public in Russia. 1801-1855. – New York: Oxford Univ. Press, 1976.

тироваться к этим новым веяниям, интегрировать в содержание своей политической доктрины основные задачи как внутренней, так и внешней политики.

Эволюция идеологической доктрины русского абсолютизма в XIX веке тесно увязывается исследователями с судьбами «национальной идеи» как в общественном мнении, так и в официальной идеологии. Все без исключения отмечают значительное усложнение взаимоотношений между обществом и государством, увеличивающийся разрыв между прогрессивно мыслящей интеллигенцией и официальными властями, что не могло не отразиться на формировании идеологической доктрины российского абсолютизма¹.

Основательно и полно судьбу национальной идеи как основополагающей в процессе генезиса государственной идеологии императорской России проанализировал А. Янов. Основной он считает проблему соотношения патриотизма и национализма в России указанного периода².

Идеологическая доктрина русского абсолютизма немыслима вне исторического контекста. Он начал складываться при Петре I, когда Россия сделала военно-административный и технологический скачок в современность. Страна оказалась разорванной надвое: патрицианская элита, перепрыгнув через столетие, включилась в европейскую жизнь с её входившими тогда в моду теориями Просвещения, политической свободы и романтического национализма. Единственной вдохновляющей её теорией была мечта о «добром царе», который в один прекрасный день отнимет землю у помещиков и раздаст её крестьянам. С этого момента противоборство «двух России» - европейской и средневековой - вырывается на поверхность. Крестьянство становится постоянным подтекстом русской истории, начиная от страха перед пугачёвщиной и заканчивая драмой «патриотизма-национализма».

Первыми поняли эту фундаментальную и опасную несообразность социально-политического строения русского дома декабристы. Главную задачу они видели в уничтожении пропасти между двумя Россиями и их воссоединении. С этим их пронзительным открытием и рождается национальное самосознание³.

Теория «официальной народности», почувствовав потребность в национальном самосознании, пробужденную декабризмом, первой на официальном уровне поставила вопрос о самобытности России, её цивилизационной идентичности, цели и смысле её истории. Провозглашая самодержавную Россию «хозяйкой Европы», а следовательно, и мира, теория «официальной народности» монополизировала мобилизационный потенциал патриотизма, пробуж-

¹ См., например: Janowski M. *Wavering Friendship: Liberal and National Ideas in Nineteenth Century East – Central Europe* // *Ab Imperio*. 2000. № 3-4. P. 69-90; Кэмпбелл Е. К вопросу об ориентализме в России (во второй половине XIX - начале XX в.) // *Ab Imperio*. 2002. № 1. P. 311-322; Хильдермайер М. Российский «долгий XIX век»: «особый путь» европейской модернизации? // *Ab Imperio*. 2002. № 1. P. 85-101; Weeks T. *Slavdom, Civilization, Russification: Concepts on Russia's World – Historical Mission, 1861-1878* // *Ab Imperio*. 2002. № 2. P. 223-248.

² Янов А. *Россия против России. Очерки истории русского национализма 1825-1921*. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 1999.

³ Янов А. Указ. соч. С. 300-304.

денный декабристами, присвоила себе монополию на него, превратила его в инструмент своих амбициозных геополитических планов.

Официальная народность имела геополитическое измерение. Вместе с императором оказалась обожествлена и империя. Нерушимость империи оказалась неотделима от патриотизма. Кто восставал против самодержавия, бросал вызов национальному чувству, отвергая крепостное право, посягал на патриотизм, поднимая руку на империю, - становился врагом России¹.

Официальная народность ориентировалась и на международную политику, в частности на деятельность Священного союза, которую можно считать первой попыткой «преодолеть международную анархию». Кеннет Волтз называет её «беззаконной анархией»: государственные деятели мыслят и действуют в терминах интереса, определяемого как «сила». Мировая политика и есть политика силы².

Имперская идеология укрепилась в России с теорией «официальной народности» при Николае I. В отличие от простодушного самодержавия александровского периода, с которым имели дело декабристы и которое вылилось в обыкновенный авторитарный произвол, николаевская «официальная народность» претендовала на то, чтобы быть духовным пастырем общества, его моральным учителем, его совестью, что, по сути, является тоталитарной идеологией³.

Великие реформы лишь «законсервировали» эту идеологию, придали ей иную форму. Брюс Линкольн обратил внимание на то, что в то время как «европейцы практически единодушно видели в самодержавии тиранию, за разрушение которой они боролись в революциях 1789, 1830, 1848 годов, русские просвещённые бюрократы приняли институт самодержавия как священный». Призывы к любому ограничению самодержавия казались им ересью. Даже самые прогрессивные представители правящих сфер конца пятидесятых годов считали своим долгом объявить непримиримую войну обществу. Догматика прогрессивного чиновничества не допускала и мысли о каком-либо общественном почине в деле громадной исторической важности, где был поставлен вопрос о всех интересах отечества. Прогрессивная бюрократия не шла дальше принципов просвещенного абсолютизма⁴.

В этой идеологии Россия противопоставляла себя миру и логике развития истории, считают исследователи. После воцарения Александра II наступил период гласности, расцвет либеральной идеологии и идеи конституционализма. Но «идеологическая пуповина», связывавшая новый реформаторский режим с «официальной народностью», порвана не была, Великая реформа оказалась в идеологическом плену у «государственного патриотизма», что и стало причиной, по мнению А. Янова, для отказа от конституции и созыва Думы⁵.

¹ Янов А. Указ. соч. С. 42-57.

² Woltz Kenneth. Political Philosophy and the Study of International Relations // Theoretical Aspects of International Relations / W.T.R. Fox, ed. – Notre Dame, 1959. P. 51.

³ Янов А. Указ. соч. С. 116.

⁴ Lincoln W. Bruce in the Vanguard of Reform. – Northern Illinois University Press, 1982. P. 174.

⁵ Янов А. Указ. соч. С. 81-97.

По образному выражению историка, «гибельное семя николаевской сверхдержавности», оплодотворенное славянофильской мечтой и, по выражению В.С. Соловьева, «татаро-византийской сущностью мнимого русского идеала»¹, образовало «гремучую смесь» и стало обыденным фактором русской жизни. Место декабристского патриотизма прочно занял имперский национализм. А. Янов подчеркивает наличие глубокой преемственности в формировании государственной идеологии на протяжении всего XIX века, глубинной основой которой являлся «византизм» как национальная идея².

Р. Пайпс подчёркивает средневековый по сути характер «официальной идеологии» после декабристского восстания, констатируя, по сути, «деволюцию» основ политической доктрины, по сравнению с периодом «просвещенного абсолютизма». «Перманентное осадное положение» стало «естественной конституцией, под властью которой и жила с тех пор – с короткими интервалами – Россия»³.

Вместе с тем вопреки линейным моделям исследовательского процесса, стремящимся к выявлению общих закономерностей развития государственных институтов, появляются новые подходы, для которых характерен широкий культурологический контекст, что особенно продуктивно для изучения интеллектуальной истории. Так, например, новое исследовательское направление – кейс-стадис – «наблюдает» отдельное событие в многообразии его связей во времени и пространстве. Как справедливо замечено исследователями, история в кейс-стадис становится многосубъективной и многособытийной, а само это направление является симптомом процесса обращения историков к исходным элементарным клеточкам предмета исторического анализа как к некоторому средоточию всеобщности⁴.

Примером такого подхода к изучению своеобразия российской идеологической доктрины эпохи абсолютизма может служить исследование Э. Касинца и Р. Уортмена альбомов, посвященных коронации русских императоров⁵. Авторы, сочетая исторический, искусствоведческий и культурологический анализ, исследуют репрезентативные характеристики русской монархии, пытаются проследить, как менялись её представления о себе самой, понять ее культуру и ментальность.

Во многом благодаря смещению исследовательских акцентов, изучение самодержавной власти, в том числе и в плане идеологии, перемещается в область изучения ритуалов, культурных практик и репрезентаций, изучения эволюции концепта самодержавия на протяжении всего периода империи. Приобрел особую актуальность сравнительный аспект с другими империями.

¹ Соловьев В.С. Сочинения: в 2-х т. – Москва, 1989. Т. 1. С. 89.

² Янов А. Указ. соч. С. 161; 238-239.

³ Pipes Richard. Russia under the Old Regime. – New York, 1973. P. 305.

⁴ Маркова Л.А. Общие модели истории науки / Философия и методология науки. – Москва, 1994. Ч. II. С. 81-92.

⁵ Kasinec Ed. Wortmen R. The Mythology of Empier: Imperial Russian Coronation Album // Biblion. 1992. Vol. 1. № 1. P. 77-100.

Противоречивы оценки политической доктрины русского абсолютизма XIX века и в русле имперской парадигмы. С одной стороны, основной целью государства исследователи считают создание национального государства, к чему должна была привести идеологически оправданная властью активная политика русификации, особенно после 1881 года. Следовательно, и империю оценивали как «русоцентристскую», «не-этническую», «анти-этническую», а политический режим – как репрессивный по отношению к нерусским народам.

С другой стороны, в 1990-е годы появляются иные оценки «открыто наднационального режима», который конституировал, а не подавлял национальность¹. При царском режиме отсутствовало официальное представление о национальности, население классифицировалось по религиозной принадлежности, и многонациональность никогда не была институционализирована, но основы для этого были созданы. Характерный для современных подходов акцент на преемственность между дореволюционной и советской Россией обосновывается представлениями о ведущей роли государства, которое в эпоху активного формирования модерности проводит интервенционистскую политику и оказывает серьёзное влияние, в частности, на формирование этнической, гендерной, местной, классовой, расовой идентичности².

Таким образом, представления историков о сущности и эволюции политической доктрины русского абсолютизма отличаются многообразием. Анализ источников позволяет сделать вывод о том, что направленность развития идеологии русского абсолютизма представляется исследователям как деградация основных идейных принципов эпохи. Так, если в XVIII веке политическая доктрина России развивалась последовательно, в основных своих параметрах отвечала «духу времен» - рационализму Просвещения и потребностям общественного развития, достигнув своей высшей точки в идеологии «просвещенного абсолютизма», то в XIX веке процессы обретают регрессивную направленность: официальная идеология обнаруживает неспособность адекватно ответить на вызовы времени. Отойдя от универсальности идеологии Просвещения, от её космополитического характера, русская официальная доктрина не смогла предложить обществу «национальную идею», которая смогла бы объединить страну в понимании необходимости преобразований. В этом западные исследователи усматривают одну из причин обострения политической ситуации в стране на протяжении всего XIX века, завершившейся формированием революционной ситуации в начале XX века.

¹ См., например: Слёзкин Ю. СССР как коммунальная квартира // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период. – Самара, 2001. С. 329-374.

² См., например: Steinwedel Ch. To make a difference: the category of ethnicity in late imperial Russian politics, 1861-1917 // Russian Modernity: Politics, knowledge, practices / ed. by Hoffmann D.L., Kotsonis Y. – Basingstoke, 2000. P. 67-81; Martin T. The affirmative action empire: nations and nationalities in the Soviet Union, 1923-1939. – Ithaca, 2001. XVIII.

§ 2. Антропологическое измерение российской государственности: концептуальная реконструкция базисных природно-антропологических констант

Во второй половине XX – начале XXI вв. представители социально-гуманитарных наук, включая юристов, при рассмотрении истории государства все чаще обращаются к понятию «антропологическая константа». Возрастание к ней научного интереса обусловлено объективной потребностью науки и практики в возвращении «поля духовного» в теоретическое осмысление государства. В частности, Л.М. Лузина отмечает, что «категории, представляющие человеческие константы, указывают те границы, за пределами которых человек перестает быть человеком»¹. И этот факт должен быть не только усвоен юристами, но и использован при изучении взаимодействия этносов и государства в историческом процессе. Так, например, при антропологическом осмыслении государство понимается как совокупность людей, создающих его государственно-правовое бытие, отличное от природных образований. Его положительная сторона заключается в широте анализа, поскольку государство рассматривается как проявление самых разнообразных действий людей по его созданию.

При анализе исторического бытия России как государства, и как цивилизации, и как российской нации необходимы новые направления исследования проблемы «государство-человек». В свете данной постановки проблемы интерес вызывает антропологическое измерение российской государственности как синтетической («город»-«деревня») мир-системы. Этот факт тем более важен, что, как и в XIX в., модернизирующаяся Россия вновь находится в ситуации выбора между культурным консерватизмом (как национальной идеей) и либерализмом. Только вникнув в историю проблемы, возникшей в XIX в. с введением в научный оборот концептуальной пары «народ-нация», собственно, положившей начало дискуссии консерваторов (славянофилов) и либералов (западников), становится очевидным, что речь идет, по сути, о выборе культурно-исторического опыта, выработанного на почве антропологически и цивилизационно разных мир-систем России (как условно европейской «глубинки» – «деревни») и Запада (как «центра мира» и потенциального «города»). Здесь на первый план выходит рассмотрение базисных антропологических констант российской государственности, альтернативных дефинитивно не определимым «общечеловеческим» ценностям, лежащим в основании мир-экономической системы современной западной цивилизации, ориентированной на перманентное самоутверждение через экспансию не-западного мира.

Современная теория государства, основываясь на исходных предпосылках классического понимания идей государственности, указывает на то, что

¹ Лузина Л.М. Синтез методологий как система методов, позволяющая увидеть человека без редукций и упрощений // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2010. № 10. С. 5.

форма государства как общетеоретическое понятие, социальный институт и политическая реальность может рассматриваться сквозь призму системы обязательных понятийных элементов, традиционно раскрывающих его сущность. В рамках политологических, государствоведческих и правовых наук сложился определенный доктринальный консенсус относительно обязательных элементов государства: обособленной территории, публичной власти, народонаселения, суверенитета, внутренней и внешней политики. Однако тенденции трансформации национальных государств, Европейского сообщества и государственно-правовых и политических режимов в условиях глобального общества заставляют помнить не только о многоаспектности государства как политико-правового «инструмента», но и рассматривать государственность как социальный, культурно-исторический, цивилизационно-антропологический феномен, по-разному функционирующий в разных природно-климатических условиях (с учетом конкретного культурно-цивилизационного «окружения»).

В обозначенном контексте исключительную значимость приобретает проблема антропологического формата новой российской государственности, которая, ориентируясь на несколько моделей одновременно, так пока и не сложилась, да и не может сложиться в принципе¹. В этой связи на первый план выходят следующие проблемы:

– должны ли сохраняться у современного российского государства те традиционные черты и принципы организации (как *базисные антропологические константы*), которые складывались и утверждались в ходе исторической динамики культуры, отражая сущность этнонациональной специфики мир-системы России на протяжении всей социально-культурной истории ее существования;

– должны ли учитываться *базисные антропологические константы* при заимствовании опыта западно-европейских стран в попытках приведения новой российской государственности в «разумное» соответствие с «чуждыми» ей концептуально-практическими реалиями?

Народ – это этнос (или группа этносов), вступивший в историю, осознавший время и поставивший себе в этом времени цель. Народ – этнос, наделенный миссией. Этнос живет в настоящем и в прошлом. Когда он становится народом, у него открывается будущее. Народ добавляет к этносу структуру упорядоченной воли, переводит гармоничное этническое бытие в неравновесное историческое деятельное состояние. Этническая энергия в народе обретает фокусировку, из рассеянной становится сконцентрированной, лучевой. Народ есть исторический субъект, наделенный волей и целенаправленностью. В нем корень преемственности. Только наличие народа как константы делает возможной историю (в противном случае неясно, с кем происходит то, что происходит, и что именно происходит, так как смысл истории народа лежит в его собственном глубинном содержании).

¹ Антропологическое измерение российского государства / отв. ред. В.Н. Шевченко. – Москва: ИФ РАН, 2009. С. 5.

Как показывает история, каждый народ имеет ядро (этническую константу) и периферию (этнические переменные). Фиксация культурного типа народа в диалоге с внешними и внутренними дифференциалами (международный контекст и внутреннее этническое многообразие) дает цивилизацию (неизменный набор основных ценностей – в частности, коллективный характер социальной и политической антропологии, созерцательность, метафора семьи, мессианство и т.д., различимые на всех этапах русской истории). Ее тип – евразийский (и по внешним признакам – Россия находится географически между Европой и Азией, и по внутренним – сочетание европейского и азиатского стилей в культуре народа).

Важную роль в становлении государства играет этническое ядро, которое дает изначальный жизненный импульс социогенезу, а затем государствогенезу. И этот импульс сохраняется на всех этапах их дальнейшего исторического развертывания. Это ядро, будучи константой, наличествует постоянно, оживляя своей энергией бытие народа. На основании этнических констант формируются адаптационно-деятельностные модели культуры и государства в особенности. Вокруг этих констант кристаллизуется этническая традиция в различных ее модификациях. Этнические константы не содержат в себе представления о направленности действия и его моральной оценки. Направленность же действия задается ценностной ориентацией. Этнические константы и ценностная конфигурация соотносятся как способ действия и цель действия.

Константы связаны между собой, но далеко не тождественны. Между ними существует определенная последовательность и размерность: начальная (наименьшая по масштабности) константа – это этническое ядро, результирующая (наибольшая по масштабности) – цивилизация; народ находится между ними. Антропологические константы позволяют осуществлять категориальное моделирование человека в качестве открытой системы.

И.П. Сковрцов считает, что «после распада СССР и формирования Российской Федерации как нового субъекта мировой политики сложилась иная ситуация. Суть ее заключается в том, что закрепленные в конституции страны базовые принципы организации ее жизни являются скорее результатом сложившегося к моменту принятия основного закона соотношения политических сил и этапа политического процесса, чем отражают специфику исторических констант российской цивилизации». И далее он отмечает: «На наш взгляд, реализации отечественной самобытности в постсоветское время не способствовало и такое важнейшее политико-идеологическое условие, как консолидация правящего класса вокруг идеи наличия собственного цивилизационного потенциала и пути развития»¹. Именно уникальные, доминирующие особенности указанных выше условий есть антропологические константы государственности, формирующиеся в процессе антропосоциогенеза и определяющие матрицу формирования государственности и развития общества. Они, в частности, выражены через правовой, «государственный» менталитет народа, общества, тип государственности и государства, определяют специфику формальных и сущностных признаков государ-

¹ Сковрцов И.П. К вопросу об определении культурно-цивилизационной самобытности России // Теория и практика общественного развития. 2014. Выпуск 8. С. 15.

ства, отвечают на вопрос, почему применительно к каждому обществу и его историческому этапу оно является именно таким.

Рассматривая проблемы становления и развития российской политической культуры, В.И. Костенко обращает внимание на то, что «общинно-вечевые государственно-правовые традиции, ценности и институты, видоизменяясь и модифицируясь на протяжении тысячелетия российской государственности, являлись основной константой ее сохранения и развития»¹. В этом же ключе рассуждает И.У. Аубакирова, считая, что «фундаментальной константой процесса государствообразования являлась взаимосвязь с культурой как важнейшей объединяющей субстанцией»². И далее, отмечая изменения в социокультуре, она пишет, что «хотя многие укоренившиеся в народе установки в новых условиях внешне изменялись, приобретая иную форму, все же социокультурное ядро, по сути, в глубинных своих основаниях оставалось константным»³.

В настоящее время российским государством особое внимание уделяется проблеме обеспечения личной и социальной безопасности. Это связано с тем, что «потребность в безопасности является одной из антропологических констант человеческого существования, а ее обеспечение – одна из функций государства»⁴. Именно в этих условиях становится возможным становление и развитие гражданского общества, а также воспроизводство и развитие человеческого фактора.

Так, В.Н. Шевченко отмечает, что для каждого исторического этапа в развитии государства существует специфический тип воспроизводства населения, определяющий его оптимальную плотность, количество населения. Это составляет содержание демографической проблемы. Вместе с тем есть и проблема качества человека. Для жизнеспособности конкретного государства нужен человек вполне определенных качеств, соответствующих его стратегическим целям и задачам. От того, какие типологические качества задает государство человеку, можно судить о том, какое это государство на самом деле. Качество человека – самый красноречивый и достоверный индикатор жизнеспособности государства, показатель его реальных целей, той политики, которую проводит власть государства в отношении человека⁵. В данном контексте трансформация формата российского человека в контексте культурно-исторических изменений рассматривается как переход от человека традиции к человеку разума (западный антропологический образец) к началу XX столетия, к человеку идеологии после революции

¹ Костенко В.И. Общеисторические и государственно-правовые проблемы становления и развития российской политической культуры: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2009. С. 25-26.

² Аубакирова И.У. Современная евразийская концепция государственного управления (теоретико-правовое исследование на материалах России и Казахстана): дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2016. С. 112.

³ Там же. С. 141.

⁴ Кашник О.И., Брызгалина А.А. Социальная безопасность: теоретические проблемы // Образование и наука. 2013. № 3(102). С. 99.

⁵ Антропологическое измерение российского государства / отв. ред. В.Н. Шевченко. – Москва: ИФ РАН, 2009. С. 46-47.

1917 года, новая попытка перехода к человеку разума в контексте становления новой России и формирование человека культуры в настоящее время. Исследователи убедительно демонстрируют, что перманентные попытки перестроить российского человека традиции (в 90-е годы XX столетия человека неотредактированного типа) в соответствии с принципами западной антропологической революции (четко обозначившейся в культуре наиболее экономически и политически развитых стран Западной Европы с XVII столетия) не становились успешными. В.И. Спиридонова отмечает, что первым шагом к «антропологической катастрофе» стал исторический мятеж Нового времени против засилья религии, для которого характерна, по выражению Ф.М. Достоевского и Ф. Ницше, ситуация «смерти Бога». Обратным эффектом кризиса прежней концепции культуры и духовности стало созидание «государства-Бога», которое было призвано заменить индивиду метафизического Бога. Действительно, человек Запада мог относительно легко пережить процесс секуляризации и адаптироваться к новым ценностям. Столетия средневекового господства церкви дисциплинировали человека. Отмечая вклад католицизма в развитие европейского общества, Б.Н. Чичерин указывал: «... сила духовной власти, вносившей всюду начала порядка и дисциплины, сделала излишним чрезмерное развитие власти светской»¹.

В условиях перехода к Новому времени Римско-католическая церковь «... приняв новый догмат, предопределила свою дальнейшую эволюцию к погружению в «социальное», его благоустройство, используя при этом глубоко укоренившиеся традиционные ценности. Это привело к рождению протестантизма, который был выстроен на таких качествах, как трудолюбие, ответственность, самостоятельность. Восточно-православная ветвь христианства предпочла полностью опровергнуть новый символ веры. Тем самым она утвердилась в традиции, но в то же время отделилась от мира дольного, отстранилась от участия в конструировании "социального"»².

Причем «конструирование социального» понимается как содействие и освобождение личности на пути к накоплению частных социальных и экономических благ, формированию предпринимательского духа (константы идеи западноевропейского гражданского общества). Объявив данные константы приоритетами, западная духовность трансформировалась в либеральные ценности. Российский же тип духовности «был связан преимущественно с интуитивно-чувственно-природной сферой человека»³. Акцент делался на аскетизме, символизме, созерцательности, где аскетика воспринималась как работа над собой, методология самосовершенствования.

Принцип созерцательности исключал творчество как активное преобразование социально-экономической реальности и развивал «склонность к фатализму (на все воля Божья). Отсюда такие отличные от европейского характера черты российского человека, как пассивное переживание невзгод, долготерпение, от-

¹ Чичерин Б.Н. История политических учений. – Москва, 2006. Т. 1. С. 137.

² Антропологическое измерение российского государства / отв. ред. В.Н. Шевченко. – Москва: ИФ РАН, 2009. С. 14.

³ Там же.

сутствие активного критицизма в отношении деяний властных структур, предпочтение позиции ухода от социальной деятельности вообще, массового эскапизма»¹.

Неслучайно предпринимаемые на различных культурно-исторических этапах попытки вестернизации бытия российского человека и преобразования его из человека традиции (общины и коллектива) в человека рациональности и индивидуализма были обречены на провал и приводили лишь к «духовной смуте» и маргинализации.

Анализируя культурно-исторические условия, определившие константы политической жизни и идеи современных обществ, необходимо указать, что политическая ситуация европейского Средневековья ознаменовалась борьбой между двумя властями – церковной и светской. Острое противостояние власти папской и императорской достигло своей кульминации в известном «споре об инвеституре» (по вопросу о постановлении на церковные должности). Фактически это означало выстраивание баланса двух властей – церковной и светской. Самостоятельность обеих властей, с одной стороны, ускорила их конструирование преимущественно как социальных учреждений, а с другой – сам факт противоборства двух центров силы дал мощный импульс для развития политического диалога и индивидуализированной гражданственности. В отличие от Западной Европы восточная (византийская) ветвь христианства, напротив, породила тесный симбиоз государства и церкви с последующим первенством государства².

Эволюция западноевропейской церковной доктрины трансформировалась в протестантистскую концепцию (этику), которая, по утверждению М. Вебера, «канонизировала» черты, создавшие «дух капитализма», определивший лицо современной Европы. Западноевропейское понимание данных постулатов в корне отлично от их православной интерпретации и понимания российским человеком, для которого вера не стала (трансформировалась) средством легитимации и поощрения нараставшего предпринимательского духа и успеха, а осталась «спасением», сохранявшим свое метафизическое содержание (данное понимание было константным для традиционной российской православной крестьянской культуры).

Неслучайно исследователи отмечают, что потенциальный «спор» между духовным и светским началами бытия и миропонимания российского человека после событий 1917 года, определивших очередной антропологический кризис России, был замещен «полномасштабной сакрализацией государства. Вместо религиозного Бога в России укрепилось Государство-Бог. **Тем самым была усилена склонность к «лиминальному» мировосприятию**»³, что не единожды приводило к испытанию на прочность коммуникации человека и государства в России. Эта тенденция мировосприятия была сохранена и в конце XX столетия.

¹ Антропологическое измерение российского государства / отв. ред. В.Н. Шевченко. – Москва: ИФРАН, 2009. С. 14.

² Спиридонова В.И. Эволюция идеи государства в западной и российской социально-философской мысли. – Москва: ИФ РАН, 2008.

³ Антропологическое измерение российского государства. С. 17.

Это актуализирует антропологический аспект государственного управления. Особую значимость проблема государственного управления приобретает в условиях современной глобализации. Как отмечает В.Н. Южаков, в XX веке «в России было предпринято немало усилий по повышению качества государственного управления. ... Тем не менее повышение качества государственного управления остается одной из главных задач, стоящих перед российским обществом и государством»¹. По его мнению, «большая часть проблем ненадлежащего качества обусловлена не только отдельными недостатками, в том числе пробелами и противоречиями, правового регулирования отдельных вопросов государственного управления, но и несистемностью правового регулирования российского государственного управления в целом»².

В разных культурно-исторических условиях проблема определения базисных констант государственности и их метаморфоз становится особенно значимой. Как отмечает С.В. Нуреева, «константа как ценность является неотчуждаемой и общей и рушится в тот момент, когда перестают быть общими для всех постоянные ценности, обусловленные константой»³. В качестве таких базисных констант России, то есть неизменных величин, современные исследователи называют православие, самодержавие (универсально понимаемое как «государственность») и народность. Действительно, эта триада, дополненная природно-географической «доминантой», стала базисным основанием концепции российской государственности.

В настоящее время в западной и отечественной литературе активно обсуждается проблема формирования новой парадигмы государственного управления, «систематизирующим фактором которого должно стать "человеческое измерение"». Для ее создания необходима теоретико-методологическая проработка данной проблематики.

Государственное управление России имеет многовековую историю, в которой просматривается набор определенных антропологических констант, постоянно действующих тенденций. Россия практически всегда (за исключением коротких периодов смут, гражданской войны) имела жестко централизованное государственное управление. Соотношение властно-управленческих функций (принятие, выработка решений) было смещено в пользу центра, где в свою очередь все или почти все сосредоточивалось вокруг одного лица и непосредственно работавшего на это лицо аппарата. В таком контексте практически не вставал вопрос об ином, более рациональном перераспределении власти между центром и местами (провинциями, административными единицами). Последним отводилась роль непосредственного исполнителя решений центра; исполнение этих решений было главным критерием оценки эффективности действий местных управленческих фигур (наместников, воевод, губернаторов, первых секретарей).

¹ Южаков В.Н. Государственное управление по результатам: о подготовке проекта Федерального закона «Об основах государственного управления в Российской Федерации» // Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. № 1. С. 130.

² Там же. С. 131.

³ Нуреева С.В. Константы государственности России в XIX веке // Актуальные проблемы Российского права. 2012. № 3. С. 4.

Как справедливо пишут С.А. Сидоров и И.Л. Честнов, «изучение теории управления принципиально важно с точки зрения юридических наук, и прежде всего для анализа государственных реформ. В связи с этим необходимо попытаться представить состояние и перспективы современной теории управления»¹. И далее они отмечают, что «антропологический подход предполагает анализ системы управления с позиции действующего субъекта, с точки зрения того, как воспринимается управление государственным служащим и одновременно гражданином, выступающим объектом управленческого воздействия»². При выработке традиционной парадигмы государственного управления в России одним из определяющих принципов стал фактор территории.

Зарубежные и отечественные мыслители раскрыли определяющую роль природно-климатических условий в развитии государства и бытия народов. Так, например, зависимость типа государственности, его властной силы от особенностей географического положения, специфики приграничных территорий, количества «соседей» отмечал еще Ш. Монтескье. К. Шмитт указывает на различия в укладе морских и континентальных миров и на их противостояние, которое подготовило почву для становления глобального общества, постепенно размывая главные антропологические категории, на которых «стоит» цивилизация Суши: понятия «дома» и «укорененности». В то же время К. Шмитт придавал большое значение географическому фактору, считая, что национальный суверенитет государства зависит не столько от его военной силы, экономической базы и технологического развития, сколько от величины и месторасположения его земель и территорий. Обладать такой территориальной самодостаточностью могут только очень крупные государства, которые расположены в регионах, стратегически защищенных от возможного нападения других государственных образований³.

Н.А. Бердяев отмечал, что «в судьбе России огромное значение имели факторы географические, ее положение на земле, ее необъятные просторы»⁴. О влиянии природного фактора на судьбу России И.А. Ильин писал следующее: «Наше бремя есть бремя природы. Это океан суши, оторванный от моря ... Эта почва, – скудная там, где леса дают оборону, и благодатная там, где голая степь открыта для набега ... эти губительные засухи, эти ранние заморозки, эти бесконечные болота на севере, это безлесные степи и сыпучие пески на юге; царство ледяного ветра и палящего зноя ... суровая природа стала нашей судьбой, единственной и неповторимой в истории»⁵. По сути дела, многие русские мыслители признавали, что Россия и ее народ являлись заложниками суровой приро-

¹ Механизм государства: классическая и постклассическая парадигмы: монография / под ред. С.А. Сидорова, И.Л. Честнова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. С. 4.

² Там же. С. 10.

³ Шмитт К. Государство и политическая форма / пер. с нем. О.В. Кильдюшова; сост. В.В. Анашвили, О.В. Кильдюшов. – Москва: Изд. дом гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. С. 31-35.

⁴ Бердяев Н.А. Судьба России. Самопознание. – Ростов-на-Дону, 1997. С. 17.

⁵ Ильин И. О путях России / Русская идея: В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья: в 2 т. / сост. В.М. Пискунов. – Москва: Искусство. 1994. Т. 1. С. 65.

ды. Действительно, в этих сложных природно-географических условиях Россия, в силу значительных физических и энергетических затрат на преодоление природных условий и «оторванности» обширных территорий от «центра», стала уступать Западу в темпах экономического и промышленного развития, что нашло отражение в формировании специфики российской государственности.

Антропологические константы занимают особое место среди других констант государственности, поскольку они являются неизменными фундаментальными постоянными человека, общества, культуры. Они входят в закономерности становления государственности определенного типа, а в дальнейшем определяют верхние и нижние экстремумы траекторий его трансформации, а также модели взаимоотношения триады личность-общество-государство, элементы которой являются основополагающими, неотчуждаемыми ценностями. В свою очередь, сами они могут трансформироваться, модернизироваться, совершенствоваться, переживать кризисные моменты, быть в упадке, но не быть их не может.

Говоря об антропологических константах, еще на ранних этапах определивших типологию государственности и направленность культурно-исторической динамики, необходимо учитывать их зависимость от внешних – природно-климатических – условий. В любых природных условиях включается адекватный им «социальный инстинкт» выживания, определяющий как культурно-цивилизационный тип самого государства, так и «вектор» развития государственности как «способа самореализации» последнего. Собственно, становление этносов, формирование культуры нации также изначально получает природно-ландшафтную детерминацию. Влияние «способов природопользования» является важнейшим принципом при анализе различий процессов воспроизводства государств традиционного и либерального типов. Действительно, территория, ее характеристики, природно-климатические условия определяют особенности «формирования властных отношений в обществе и такие их частные аспекты, как принятую в обществе «парадигму послушания», дисциплину, гражданскую активность»¹. Благодаря константности названных предпосылок российской государственности обеспечивается требование ее исторической воспроизводимости. Это связано с тем, что константная реальность представляет собой порождающую реальность.

В современной отечественной и зарубежной литературе имеются лишь первые попытки антропологического измерения государства. С большей или меньшей степенью успешности они осуществляются сегодня в публикациях социальных философов, социологов, а также государствоведов и правоведов. В частности, в юридической науке все более интенсивно развивается направление юридической антропологии, подчеркивающей необходимость разработки проблем правового менталитета и «менталитета» государственности². Кроме того,

¹ Антропологическое измерение российского государства / отв. ред. В.Н. Шевченко. – Москва: ИФ РАН, 2009. С. 19.

² Рулан Н. Юридическая антропология: учебник для вузов / пер. с франц.; отв. ред. В.С. Нерсисянц. – Москва: НОРМА, 1999. – 310 с.

исследователи вводят в поле анализа категории территориальной обусловленности, природно-климатического фактора, культурной эволюции. Все это действительно способствуют определению формата личности (*например, человек традиции или человек-рацио*), которая создает определенный тип государства с присущей ему моделью взаимоотношений человека и общества.

Присутствие антропологической составляющей, как показывает история, детерминирует генезис, эволюцию, тенденции трансформации всех сфер жизни общества, в частности, преемственность в сфере культуры была бы невозможна, не имей культура антропологической константы в своем основании¹. Поэтому предметом осмысления наук социально-гуманитарного цикла, включая юридические, становится выявление способности влияния базисных констант российской государственности, доминирующих на различных культурно-исторических этапах, воздействовать на ход ее развития.

Вместе с тем важно учитывать, что антропологическое исследование какого-либо объекта предполагает обязательное внимание к трем аспектам: телу, психике и сознанию, в полной мере учитывая описание их динамики и своеобразие. В частности, качественные трансформации государственного тела определяются, прежде всего, территорией, восприятием и отношением к ней человека. Поэтому первые попытки понять судьбу России в сопряжении с судьбой личности способствовали формулированию положения о неоспоримости географического фактора в интерпретации истории страны и народа².

Вполне правомерно современная российская государственность характеризуется рядом ученых как неотрадиционная. В этой связи выстраивание ее в соответствии с западным пониманием доминирующих демократических ценностей, рационализировавшихся начиная с позднего периода Средневековья и получивших либеральную интерпретацию еще начиная с трудов Т. Гоббса и Дж. Локка, форсированный переход российского человека от человека традиции к человеку идеологии, а сегодня к человеку рациональному, являются причинами «антропологического кризиса» в России, оставляющего пока без решения проблему взаимоотношений человека и государства.

Основная характеристика российского пространства – это его «огромность», которая задает тон формированию государственно-державных властных отношений и в то же время образует своеобразный тип личности³. Организация масштабного российского пространства требует достаточно жесткого типа правления (сильной власти). Реализация объединительных, солидарных проектов, формирующих поле «единого социального взаимодействия» в таком пространстве, ожидает от властных структур определенных качеств. Это – прежде всего высокая моральная ответственность, доктрина сильного интегрирующего государства, самоконтроль, напряженная активность. Именно эти чер-

¹ Ромаха О.В., Лапина Т.С. Антропологические представления о человеке как творце и производном культуры // Аналитика культурологии. 2010. № 16. С. 50-64.

² Антропологическое измерение российского государства / отв. ред. В.Н. Шевченко. – Москва: ИФ РАН, 2009. С. 30.

³ Там же. С. 21.

ты подразумевались в категории «служения», которую личность в российском государственном пространстве исторически соотносила с «культурой власти»¹.

В данном контексте антропологическое измерение государства позволяет видеть в нем не просто политическую доктрину, но и проекцию человеческого бытия, а также учитывать предрасположенность членов той или иной общности к определенному типу взаимоотношений, непосредственно обуславливающих политико-правовой режим конкретных национальных государств или государств – членов союзов и интеграций. Философско-антропологический подход к исследованию феноменов бытия и политико-правовой практики государства и государственности сегодня приобретает все большую научную популярность, поскольку выявление прямой связи между геокультурными условиями, менталитетом народа и конкретными формами организации общества и власти имеет фундаментальное значение в современном геополитическом пространстве.

Ряд современных ученых (В.Ф. Калинина, А.А. Захаров, А.И. Ильин, Д. Элейзер) отмечают, что антропологический подход имеет также широкие эвристические возможности и при рассмотрении концепций федерализма, связанного с моделями государственно-территориального устройства. В частности, Д. Элейзер пишет, что именно взаимоотношения, существующие между людьми в той или иной культуре, являются определяющими при обосновании конституций, конструировании институциональной среды государства, его структуры. При этом он подчеркивает, что субъектами федеративных отношений являются не только государства и государственные институты, но и социальные группы, общности, а в некоторых случаях и отдельные индивиды². Применительно же к условиям современной России особую значимость приобретает проблема антропологического формата нового российского государства, который, формируясь в соответствии с несколькими моделями одновременно, находится в процессе становления.

Сегодня очевидным становится процесс глубокого взаимопроникновения обеих реальностей (государства и общества) в макросоциологическом креативном процессе. Государство предстает перед каждым человеком в качестве определенной «формы общества», обусловлено системой общественных отношений людей, соучаствует в их сознании, поведении и деятельности, способствует организации жизни, в том числе духовной, на определенной территории. Свидетельством подобного взаимопроникновения «служит такая социологическая реальность, как социальное государство, смысл и суть которого в установлении справедливых отношений в обществе, цели которого подчинены реализации общего блага как квинтэссенции частного блага. При этом активными полагаются обе стороны взаимонаправленных усилий: и индивид, и государство. Оба ракурса социального взаимодействия: ракурс «уникально-субъективного» и ракурс «универсально-субъективного» – взаимодополняют и взаимопроника-

¹ Антропологическое измерение российского государства / отв. ред. В.Н. Шевченко. – Москва: ИФ РАН, 2009. С. 30.

² Элейзер Д. Сравнительный федерализм // Политические исследования. 1995. № 5. С. 106-115.

ют друг в друга»¹. Государство предстает как социальный проект, обеспечивающий определенный «статус» народа, связанный с его социальным, культурно-историческим, духовным, политико-правовым единством.

Рассматривая фундаментальные основания, определяющие жизнеспособность государства, целостность и преемственность сфер и форм социальной жизни, политико-правовой организации народа в различные периоды истории, отечественные и западные исследователи видели задачу государственной власти в сохранении и обеспечении «видимости» (репрезентации) социально-политической целостности общества в единстве его прошлого, настоящего и будущего. В частности, К. Шмитт указывал на то, что «народ, существующий в качестве *политического единства*, обладает высшим и возвышенным, более интенсивным видом бытия в отличие от естественного существования какой-либо совместно-проживающей группы людей»². Анализируя также сущность и источники правопорядка, политико-правового мышления общества, К. Шмитт подчеркивает, что в их основаниях должны проявляться константы, носящие интегративный характер и кристаллизующиеся в процессе культурно-исторического развития социальной, духовной, политико-правовой практики народа. По его мнению, без постоянных и необходимых конкретных «*предположений*» не существует ни юридической теории, ни юридической практики. Он отмечал, что правовые «*предположения*», основываясь на социокультурной норме, отличаются как в зависимости от эпохи и народа, так и от видов юридического мышления³.

Отметим, что ни четкого, ни более или менее последовательного и разделяемого понимания сущности и содержания антропологических констант государственности не сложилось. Рассуждая об антропологических базисных принципах государственности, одни авторы черпают их из природы самого человека как деятельностного субъекта, создающего ту или иную социальную реальность, другие отдают приоритет контексту, в котором изначально формировался человек как представитель определенного родоплеменного образования в архаическом периоде, догосударственной, протогосударственной, раннегосударственной и зрелой государственной стадиях культурно-исторического развития.

Антропологическая константа характерна не только применительно к российской действительности, но и, как показывает геополитическая реальность, политическая и международно-правовая практика, важна для анализа тенденций трансформации государственной власти и возможного будущего национальных государств в условиях политической глобализации и построения «глобального общества». Эти тенденции обусловлены антиномичностью, которая в эпоху политической глобализации проявляет себя следующим образом:

¹ Антропологическое измерение российского / отв. ред. В.Н. Шевченко. – Москва: ИФ РАН, 2009. С. 30.

² Шмитт К. Государство и политическая форма / пер. с нем. О.В. Кильдюшова; сост. В.В. Анашвили, О.В. Кильдюшов. – Москва: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. С. 123.

³ Шмитт К. Государство: право и политика / пер. с нем. и вступ. ст. О.В. Кильдюшова; сост. В.В. Анашвили, О.В. Кильдюшов. – Москва: Территория будущего, 2013. – 448 с.

чем стремительней идет процесс унификации политической, финансово-экономической и правоприменительной систем путем изменения национальной политики и международного права, тем глубже становятся межкультурные, межконфессиональные и межэтнические расхождения, порождающие глобальные потрясения и конфликты – предвестники «столкновения цивилизаций».

Современная глобализация посягает на последний бастион укорененности людей – на территориальную привязанность. Это обусловлено тем, что знанием времени становится коммуникация, предполагающая ускорение физического перемещения и обмен идеями, ценностями, моделями образа жизни. В этой связи В.Н. Шевченко, анализируя возможности и последствия заимствования модернизационных проектов, предлагаемых европейскими странами, справедливо подчеркивает, что речь идет о смене или сохранении не просто конкретных форм государственного устройства, политической системы, а о смене или сохранении исторически и культурно сложившегося типа и модели российской государственности и ее политико-правового понимания¹. Государство, являясь динамически развивающейся системой, может трансформировать устаревшие и несоответствующие вектору и целям дальнейшего воспроизводства и развития формы государственного устройства, функции, институциональную структуру, сохранять базовые, сущностные константы государственности, обуславливающие определенный тип политико-правового образа жизни и мышления.

Таким образом, данная постановка проблемы позволяет дать однозначный ответ на вопрос: в условиях глобальных трансформаций современности традиционные антропологические константы российского государства, которые складывались, развивались и определяли его специфику на протяжении всей культурной истории существования, должны сохраняться.

Как показывает западноевропейская и российская история, именно в рамках определенного природно-географического и культурного ландшафта формируются психологические и ментальные особенности государственной антропологии. При этом различия в восприятии базисных ценностей европейской демократии, безусловно, имеющих высочайшую социальную значимость, определяются особенностями путей их культурно-исторического развития и природно-географического окружения. Эффективная реализация программ новейшей модернизации российского общества невозможна без четкого разграничения и осмысления отличий в исходных посылах европейского модернизационного проекта и российской государственности, учета специфики ее базовых констант, включая константы природно-антропологические.

¹ Шевченко В.Н. Глобализация и судьба российской государственности // Личность. Культура. Общество. 2004. Вып. 4(24). С. 213.

§ 3. «Модели» мультикультурализма и их приложение к условиям современной многонациональной России в контексте конструирования антропологического формата государства

Социокультурные процессы, протекающие в современном российском обществе, – явление сложное, трудно дифференцируемое и не поддающееся однозначному определению. Тем не менее в их течении просматриваются симптомы «культурной травмы», порождаемые скрытым конфликтом внутри культуры. Виной всему – антиномичность, которая в эпоху «политической глобализации»¹ проявляет себя во всей мощи своих интеграционных и дезинтеграционных потенций: чем стремительней идет процесс унификации политической, финансово-экономической, правовой и правоприменительной систем, приближающей вождельный Западом «конец истории» (Ф. Фукуяма), посредством уничтожения национальной политики и международного права², тем глубже становятся межкультурные, междоцивилизационные, междофессиональные и междоэтнические расхождения, порождающие глобальные потрясения и конфликты как предвестники «столкновения цивилизаций» (С. Хантингтон). Это означает, что в ходе политической глобализации попытки стандартизации одних сторон жизни неизбежно приводят к «дисгармонии» других как реакции на разрушение исторически сложившейся системы социально-культурного взаимодействия и культурно-цивилизационной идентичности. Для политической глобализации – как «неестественноисторического» процесса – такой результат является отрицательным, так как «единый стиль не только не складывается, но заменяется «плюрализмом», конкуренцией и конфронтацией стилей жизни»³, которые порождают «хаос», не снимающий, а ускоряющий нарастание социокультурного, политического и «правотолковательного» напряжения в глобально трансформируемых не-западных обществах. Напряжение усиливается попытками Запада привить толерантность к извращенным формам проявления мультикультурализма как дестабилизирующей практики в поликультурных регионах, традиционно отличавшихся культурной и религиозной терпимостью.

Осмысление феномена мультикультурализма, начатое в 60-х гг. XX в. Г. Тернборном, в XXI веке обретает новое методологическое измерение. Как известно, понятие «мультикультурализм» Г. Тернборн рассматривает только в трех контекстах: 1) в политическом, 2) эмпирическом, дескриптивном либо

¹ Глобализация и мультикультурализм / отв. ред. Н.С. Кирабаев. – Москва: РУДН, 2005. С. 166.

² Уже сегодня, когда, по замечанию В.В. Оглезнева, «различия между «своими» и «чужими» делами, внутренними политическими проблемами и внешними вопросами, суверенными делами национального государства и международными соображениями провести не так просто», – новые социальные технологии, направленные на ускорение политической глобализации, «предполагают исключение территориального признака из понятия политической власти», что делает понятия «международная политика» и «международное право» словосочетаниями, лишенными всякого смысла.

³ Федотова В.Г. Хорошее общество. – Москва, 2005. С. 181.

аналитическом и 3) в правовом, поскольку речь у него идет о «моделях» мультикультурализма в формате «политуправления» и «политкорректности», разрабатываемых мультикультурным Западом для «внутреннего потребления». Показательно, что, как и у самого Тернборна, у его ближайших последователей нет и намека на «идеологический» аспект мультикультурализма, хотя уже с конца 80-х гг. XX ст. мультикультурализм из «социологической» проблемы все явственнее трансформируется в проект, нацеленный на «децентрацию» Старой Европы, а с конца 90-х – в инструмент тотальной дестабилизации не-западного мира как «мировой периферии».

Здесь на первый план выходит проблема «центрации-децентрации» – деления глобального социально-культурного пространства на «центр» и «периферию» – как главная «стратегема» англо-саксонской «ложи» европейских либерал-демократов, направленная на достижение «одностороннего» экономического, политического и правового нигилизма, возникшая задолго до старта современной политической глобализации. Так, начиная с эпохи Просвещения и до второй половины XX столетия Европа на почве «европоцентризма» – преувеличенной самооценки в самоистолковании себя и заниженной оценки в истолковании места России и других не-западных культур в мировом культурно-историческом процессе – самопровозглашает себя мировым цивилизационным центром. Со второй половины XX в. таким «центром» и выразителем идеологии «западоцентризма», конституирующего культурный и «правовой плюрализм в качестве доктринально-правового и теоретико-методологического принципа»¹ построения нового миропорядка, становятся США. Механизмом построения «нового мирового порядка» США избирают экономическую и политическую глобализацию как способ достижения предельной «центрации-децентрации». В этом проекте мультикультурализм используется как технология дестабилизации ситуации не только в многосоставных обществах Старой Европы, но и в поликультурных и поликонфессиональных регионах (Балканы, Россия, Ближний Восток) как «новой периферии».

Однако при попытке наложения западной «модели» мультикультурализма на культуру России на рубеже XX – начала XXI вв. не учитывается, что «западный» мультикультурализм имеет этиологию, отличную от «российского»: Россия изначально формировалась не как мультикультурное, а как многонациональное государство, субъектом которого выступал народ как культурно-историческая общность, объединяемая единой исторической судьбой, духовным и психическим складом. Этот факт позволяет понять, почему в России на уровне общественного сознания формируется такой феномен, как общекультурная и историческая идентичность, практически сводившая конфликты на этнической и религиозной почве к минимуму, в то время как на Западе с его моделью нации как социально-политической (а не культурно-исторической, как в России) общности идентичность сводится к искусственному конструкту под названием «национальная идентичность», что и порождает перманентный кри-

¹ Колесников А.С. Обозримые тенденции становления философии в начале XXI века // Историко-философский ежегодник. 2006. С. 122.

зис. Если сделать обобщенный анализ моделей социального действия Запада и России, можно убедиться, что первому органически свойственны «экстравертность» и инструментальные ценности (ориентация на индивидуальную независимость и личный успех¹ стремящегося реализовать себя в отношениях с внешним миром индивида, где ищется критерий оценки степени достижения самореализации), а второй – «интравертность» и коммуникативные ценности (ориентация личности на ближайшее окружение, общие коллективные цели, идеалы и ценности).

В данном контексте следует различать «мультикультуральность и много-составность как состояние, находимое во многих культурных пространствах», а не только в России, и мультикультурализм как набор теорий и практик, направленных «на разрушение привычной господствующей модели»² культуры путем «включения» в систему социального взаимодействия одних для «исключения» других. В этой связи речь должна идти об идеологическом и «политтехнологическом» контекстах мультикультурализма как «модели» и «инструмента» управления процессами дезинтеграции, встраиваемой в модернизационные теории нового поколения, разработанные для «демократической» трансформации культур не-западного типа, по сути, подготавливающие почву для «нового мирового порядка». Так, «проект мультикультурализма из ... локальной истории, характерной для США и отчасти Западной Европы (хотя мультикультурализм впервые был конституализирован в двух бывших колониях Британской Империи – Канаде и Австралии), превращается в глобальный проект, навязываемый всему миру.

Показательно, что и в самом мультикультурном пространстве Западного общества, где мультикультурализм официально выступает как «хронологически и географически локализуемая форма публичного говорения и письма по поводу современного общества, опирающегося на понятие «культура» как средство дифференциации общества»³, последний превращается в инструмент политического, идеологического и «правового» давления «нетрадиционалистских» меньшинств на «традиционалистское» большинство. В том, что культура на Западе выступает как «средство дифференциации общества», нет ничего удивительного: начиная со Средневековья урбанистическая Европа сознательно отказывается от «собирающего начала» культуры⁴. В условиях, когда каждое сословие выступает как автономная, замкнутая на себя «субкультура» (М.С. Каган) со своими узко сословными культурными традициями и ценностями, европейские общества формировались как «мультикультурные», дифференциация в которых проводилась по «формам культурной жизни» (субкульту-

¹ Артемов Г. П. Россия и Европа: социокультурная динамика на рубеже веков // Социальная реальность и социальные теории. – Санкт-Петербург, 1998. С. 40.

² Глобализация и мультикультурализм / отв. ред. Н.С. Кирабаев. – Москва, 2005. С. 175.

³ Радтке Ф.О. Разновидности мультикультурализма и его неконтролируемые последствия // Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. – Москва, 2002. С. 103.

⁴ Самохвалова Т.А. Демократический тоталитаризм массовой культуры // Человек в контексте культуры: сборник научных трудов / под ред. О.Ю. Марковой. – Санкт-Петербург, 1998. С. 44.

ры «элиты», бюргерская субкультура города, субкультуры низов). Именно поэтому в европейских сообществах (за исключением Германии), где не складываются ни общекультурная традиция как механизм сохранения культурной преемственности, ни «вертикальная устремленность» культуры, ни «общекультурная» идентичность, формируется феномен «односторонней» демократии, откуда вытекает двойная стратегия поведения и общения: одна «для себя», другая – «против иных» как принципиально нерелексированная ценность. «Освобожденные» от культурной преемственности и общекультурной идентичности – отчего одна историческая эпоха (Античность, Средневековье, Возрождение и т.д.) возникает как отрицание другой – западноевропейские общества исторически «унифицируются» по «мещанскому» (бюргерскому), а идентифицируются по «групповому» (клановому, классовому) «субкультурному» образцу. По сути, здесь речь идет о генетически свойственной Западу «модели» мультикультурализма, отчего в западноевропейской религиозно-философской мысли и постулируется идея европейского единства (трактат «О возвращении Святой земли» 1305-1307 гг.). Так зарождается проект «единой Европы», о котором, по резонансному замечанию В.В. Веселовой, «Россия до сих пор не имеет адекватного представления», как не имеет представления и о роли последнего в европейской интеграции после Второй мировой войны. И хотя такая «проект-идея» не только «живет и передается от поколения к поколению уже семь столетий»¹, но и реализуется в создании Евросоюза как отчаянной попытке искусственно сложить европейский «суперэтнос», оснований для достижения реальной европейской интеграции, как и прежде, несоизмеримо меньше, чем для его, Евросоюза, самоликвидации.

Обозначенный факт позволяет понять, почему «оттепель» Просвещения, направленного на поиск универсализма в культуре и праве, сменяется «эпохой» модерна, демонстрировавшей «состояние истощенности тех принципов, которые задавали мышление и эвристические горизонты»² эпохи Просвещения, а затем – постмодерном, постулирующим плюрализм как демонстративный «антиуниверсалистский» отказ от «селективного» отбора исследовательских парадигм, что порождает методологический, понятийный и эпистемологический «анархизм» при описании исторического процесса, выступивший тем самым наиболее действенным средством «дезинтеграции» науки и общественного сознания. Как результат, «программные» постмодернистские установки, направленные на ниспровержение «больших идеологий» как «неординарных эвристических стратегий», обремененных, по мнению постмодернистских идеологов, такими пороками, как метафизичность и фундаментализм, оборачиваются разрушением основополагающих духовных смыслов как ценности, на руинах которых манифестируется «голый» аргумент постмодернистского дискурса, неподвластного ни нравственным, ни рациональным, ни правовым оценкам.

¹ Веселова В.В. Философские проблемы экономической интеграции в современных условиях мирового хозяйства / Современная наука и философия для будущего России. – Москва, 2008. С. 33.

² Колесников А.С. Обозримые тенденции становления философии в начале XXI века // Историко-философский ежегодник. 2006. С. 33.

Одно из главных последствий постмодернистского дискурса есть утрата понимания онтологических границ существования как почва для возникновения не только абсурдных, но и гибельных – тотальный мультикультурализм в их числе – проектов «посткультуры». И чем больше постмодернистских «интенций» просматривается в нем, тем очевидней становится: то, что сегодня выдается Западом за «мультикультурализм» есть на самом деле неолиберальная «модель» «постмультикультурализма», направленного на ниспровержение «непознаваемых» для современного Запада (а потому и «порочных») «метафизических» канонов национальной традиции, общекультурной и исторической идентичности, национальной словесности и культуры, еще сохранившихся за пределами «познаваемости» западного мира. Чего стоят рассуждения постмодернистов о национальных культурах с более чем тысячелетними историями, имеющих естественно-историческую «природу», как о «проектах культуры», существование которых можно продолжить, приостановить или вовсе остановить. Хотя уже сам факт появления постмодернизма есть, по сути, констатация сворачивания «проекта» западноевропейской цивилизации и ассоциируемых с ней культур, процесс разложения которых, непосредственно связанный с целенаправленной «прививкой» им идеологии «конструкции-деконструкции», только оттягивает момент ее окончательного «заката».

Если вспомнить, что в англо-саксонском рационалистском представлении «мир» не только «трансэмпиричен» (объемлет пространство обитания человека и его практической деятельности), но и включает в себя жизненно-познавательный опыт как внешний, а не внутренний «ресурс», становится понятно, что мечта о «конструкции-деконструкции» культур не-западного мира коренится на возделанной почве. А поскольку существуют внешние условия опыта, выступающие его причиной, то человек, постоянно испытывающий на себе воздействие «мира» как «вызов», стремится дать на него адекватный «ответ». Но если «мир» – культура, экономика, наука – не являются результатом деятельности человека и человек не вырабатывает в процессе этой деятельности опыт, а черпает его из внешнего «мира», где он выступает не субъектом, а исключительно объектом, то и сама западная цивилизация является неким «проектом», подвергающимся цикличной «доделке»-«переделке». Сказанное означает, что современный «мультикультурный» дискурс, направленный на «бесконечно плодящееся разнообразие» вариантов этого процесса, не может стать панацеей от «вызово-ответного» замкнутого круга: в условиях, когда «вызов» неизбежно рождает «ответ», такой подход, как минимум, порождает «бег по кругу» (вызов-ответ – ответ-вызов) (Фукуямовский конец истории), а как максимум – «вызов» на «вызов», ответ на который «инициирующей» стороной может и не быть найден (Хантингтоновское столкновение цивилизаций).

Этот факт позволяет понять, почему Запад (будучи сам «проектом») для достижения намеченных целей избирает единственно приемлемую для себя тактику «взаимодействия» с окружающим миром: тактику «вызова» – решения проблемы через конфликт – как культурную традицию (в условиях глобализации – это тактика силового навязывания нравственного и правового нигилизма). В рамках идеологии глобальной «конструкции-деконструкции», использу-

ющей «модернизационные» технологии нового поколения, не-западному миру навязываются ложные идеи и цели, а собственному обществу – разного рода «экзистенциальные доминанты», формирующие «человека массы», не способного к конструктивному культурному творчеству (Ж. Делез, Ж. Бодрийяр), отчего на фоне гиперактивности «сообществ» с ликвидирующейся, нейтральной, скрытой или внезапно возникающей идентификацией наблюдается затухание деятельности созидательной направленности. Более того, новейшие «социальные технологии» трансформации масс, направленные на создание глобальной «информационной массы» как новой культурной модификации человечества, навязываются повсеместно под видом «общечеловеческих» ценностей, а зависимость человека от «массовых стратегий» информационного общества не рассматривается с позиций антропологического кризиса. Этот факт позволяет понять, почему возникновение информационного общества «невозможно объяснить с научно-прогностической точки зрения», отчего его «следует рассматривать не как закономерный результат развития либерального капитализма, а как чисто интеллектуальную конструкцию его желаемого будущего»¹.

На самом деле, по мнению М. Фуко, формирование человека массы начинается с Нового времени, когда человек становится «ставкой в политических стратегиях» новой социально-экономической формации, где он выступает лишь как «живое тело». Следствием становится «нечто вроде анимализации человека, осуществляемой посредством тончайших политических технологий», когда становится одинаково возможным как «защитить жизнь, так и оправдать принесение ее в жертву»². С этой целью «современная культура производит чудовищную редукцию человека, послушного биологическому организму. Причем этот процесс объясняется «заботой и экономической целесообразностью»³. По мнению Д. Агамбена, такая политика (удивительным образом согласующаяся с «проектом» мультикультурализма как одного из действенных «инструментов» управления процессами дезинтеграции в контексте «естественного отбора») «направлена на уничтожение бедных классов», что позволяет мультикультурным обществам не только воспроизводить внутри себя «народ исключенных», но и погружать в «голую жизнь» «все население третьего мира»⁴. В условиях, когда 1) понятие «третьего мира» стало экстерриториальным, 2) нынешний мировой кризис привел к увеличению числа «исключенных», 3) «топосы третьего мира могут возникнуть и возникают повсюду», начинают восприниматься как норма, существует опасность, что «потенциально почти все люди попадают в эту зону неразличимости голой жизни»⁵.

¹ Стрельченко В.И. Научная рациональность: proetcontra // Философия права. 2012. № 2(51). С. 11.

² Фуко М. Интеллектуалы и власть. – Москва, 2006. С. 152.

³ Смирнов К.С., Барковская А.Ю. Nomosacer: к вопросу о праве на жизнь в условиях антропологического кризиса // Философия права. 2012. № 2(51). С. 34.

⁴ Агамбен Д. Nomosacer: суверенная власть и голая жизнь. – Москва, 2011. С. 229.

⁵ Смирнов К.С., Барковская А.Ю. Nomosacer: к вопросу о праве на жизнь в условиях антропологического кризиса // Философия права. 2012. № 2 (51). С. 35.

В этом контексте прививаемый на российской культурной почве «мультикультурализм» выступает не только как предикат «мозаичного» социума, в разных «моделях» репрезентируемый в западном мире, в нем «эмплицитно присутствует опасность возникновения массовой маргинальности, коей ... присуща (*не созидательная, а разрушительная* – авт.) криминальная направленность мышления»¹, что требует самого серьезного осмысления.

Между тем в современном западном обществе, дезинтегрируемом уже не только по культурному, групповому, этническому, но и по гендерному признаку как «инновационному» средству дифференциации общества, за публичным обсуждением проблем мультикультурализма стоят, в том числе, неопрагматистские устремления-установки. Отказ от принципа ненавязывания «плюрализма форм жизни» в условиях встроенности неолиберальной «модели» «мультикультурализма» в политический дискурс, настойчивая «интервенция» последней в сферу культуры и образования становятся грозным предвестником не просто «заката социального», выродившегося в его «симулякр» (Бодрийяр) (как традиционной «континентально-европейской» проблемы), а конца «русского мира» в его зеркальной западной мировоззренческой самовыраженности. И хотя, по мнению западных аналитиков, политика мультикультурализма на самом Западе потерпела крах, «мультикультурный» подход как инструмент дестабилизации продолжает использоваться Западом при вмешательстве в дела не-западных государств, попадающих в зону его экономических и политических интересов. Речь идет не только о делении населения Ближнего Востока на мусульман и христиан, но и о делении самих мусульман на шиитов, суннитов, салафитов и сталкивании их между собой. Ирак, Тунис, Египет, Ливия, Йемен, Сирия – тому лучший пример.

С этой точки зрения интерес вызывает методология применения «мультикультурного» подхода к многосоставным государствам в эпоху «достижения» политической глобализации. Например, методология приложения мультикультурализма к условиям многонациональной России чрезвычайно проста. В ее основании лежат.

1. Макиавелиевский принцип «разделяй и властвуй». В условиях радикальных социокультурных трансформаций его реализация начинается со смены этнокультурной модели российской нации на этатистскую, что находит выражение, в том числе, в смене «тезауруса» нового политического «дискурса», хотя такая смена моделей нации отражает «инволюцию» с точки зрения истории политических и правовых учений².

2. Внедрение в общественное сознание категориального аппарата, содержащего новую семантику описания современных обществ, разработанную с учетом конкретных практико-правовых и политических интересов Запада. Перенос его на почву многонациональной России предстает в «ипостаси» перепи-

¹ Тишков В.А. Теория и практика многокультурности / Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. – Москва, 2002. С. 332.

² Оль П.А., Ромашов Р.А. Нация (генезис понятия и вопросы правосубъектности). – Санкт-Петербург, 2002.

сывания ее истории в терминах «мультикультуры», что означает не только сделать ее таковой, но и отсечь возможность возврата к традиционному для нее способу мышления и «многонациональному» способу бытия. Ставка делается как а) на «информационную интервенцию» путем вбрасывания в общественное сознание «фактов», вырванных из контекста истории, б) на «синдром плюралистического и правового невежества», в) на «провокацию субъективности» и «репрессивную толерантность»¹ как социальные технологии, разрушающие привычную картину мира, так и на «эксплуатацию» пассионарности «малых» (прежде всего – кавказских) народов, что в условиях насаждения хаоса как нового миропорядка ведет к возникновению в России «цунами» «периферийного национализма, который чаще всего воплощают в себе власти российских республик»². А это – худшая для многонациональной России «модель» мультикультурализма.

3. Замалчивание отдаленных последствий «периферийного национализма», вырастающего на почве не только «этнического эгоизма», но и «столичного снобизма», связанных с притязаниями на узаконивание исключительности отдельных форм социальной идентификации. Здесь «мультикультурализм» как манифестация «плюрализма» этнических и культурных «форм жизни» выступает инструментом тотальной дискриминации – «не втискиваемого» в «прокрустово ложе» последнего – «исторического» большинства, более тысячелетия обеспечивавшего единство и стабильность функционирования государства и выживания нации со стороны этно- и мультиидентичного меньшинства.

4. Насаждение в молодежной среде инструментальных ценностей (ориентация на индивидуальную независимость и личный успех), имманентно присущих Западу, взамен коммуникативных (ориентация на ближнее окружение и общие цели), исторически свойственных России, в то время как в мультикультурной «Европе в целом ... зафиксирован баланс обеих ориентаций»³.

5. Требование толерантности к политике бесконтрольной иммиграции.

6. Подстрекание образованных и состоявшихся россиян к эмиграции и оппозиции к власти и т.д.

7. Насаждение в общественном сознании идей «принципиальной негомогенности и децентрации» российского общества⁴ и западных «рецептов» по созданию и решению межэтнических проблем.

8. Встроенность идеи мультиидентичности в дискурс и технологии власти как нормы.

¹ Поскольку, по мнению Г. Маркузе, толерантность не может означать одно и то же для жертвы и палача, то «репрессивная толерантность» есть, по сути, требование толерантности от жертвы к своему палачу.

² Тишков В.А. Теория и практика многокультурности / Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. – Москва, 2002. С. 333.

³ Артемов Г.П. Россия и Европа: социокультурная динамика на рубеже веков / Социальная реальность и социальные теории. – Санкт-Петербург, 1998. С. 40.

⁴ Кушнарева Е.С. Мультикультурализм в США / Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение // Вопросы теории и практики. 2011. № 1(7). С. 126.

В условиях провала идеологии мультикультурализма на самом Западе, «мультикультурный» подход следует рассматривать как «вирусный вброс» в незащищенные «антивирусом» не-западные системы культуры. А, как показывает история, самой эффективной «антивирусной» системой защиты является культурный консерватизм как национальная идея.

Если учитывать, что в многонациональной России любые попытки «культурной гибридизации» традиционно терпели крах, насаждение любой из «моделей» мультикультурализма равносильно несовместимой с жизнью «культурной травме», разрушающей целостность пока еще живой культурной ткани, что способно уже сегодня превратить Россию в «химеру» (Л.Н. Гумилев). России нет дела до проведения «антиуниверсалистской политики культурных различий» на самом Западе с его «зеркальными» нашим культурой и мышлением. В конце концов, это дело вкуса искать «восхищение и уважение» в том, что большинство с «отвращением отвергли». Волнует другое: сам Запад, призывающий к тотальной толерантности, не ищет оснований для уважения иных, чем у него, общественных и культурных «укладов» России, стран Востока и Азии.

Отказ от признания права на их существование в рамках им же сформулированной неолиберальной «модели» постмультикультурализма, постулирующего «плюрализм форм жизни», должен приравняться международным правом к сознательному нанесению вреда последним. Это тем более так, если принять во внимание, что сам по себе «плюрализм форм жизни», по сути, «превратился в медиум социальных размежеваний ..., которые отныне включают в себя наряду с этничностью пол (gender) и сексуальную ориентацию»¹, навязываемый всем, кто их «с «отвращением отверг». Если принять во внимание, что навязчивым проталкиванием «плюрализма форм жизни» занимаются такие «демократически конституированные национальные государства», как «Северная Америка, Австралия и Западная Европа», то объяснение неприязни к иному, чем у них, общественному и культурному «укладу» следует искать в исторически сложившейся на Западе «модели» «односторонней» демократии, нашедшей выражение как в длительной истории «угнетения (им же – авт.) своих «коренных народов» в период колонизации и сталкивающихся сегодня с резким изменением этнического состава населения в метрополиях», так и во внутренней политике мультикультурализма, проводимой с целью «отвлечения внимания от социально-экономических проблем на ... искусственно сконструированные этнокультурные»² проблемы. Неудивительно, что рассматриваемые сквозь призму «плана содержания» «мультикультурализма» политические системы обозначенных стран, якобы «основанные на нормах равенства», подпадают «под подозрение в намеренной дискриминации»³ всех культурно «иных», хоть в «плане выражения» «мультикультурализм» и репрезентируется как «модель» толерантности. В ней явственно прослеживаются интересы «постмульти-

¹ Радтке Ф.О. Разновидности мультикультурализма и его неконтролируемые последствия / Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. – Москва, 2002. С. 107.

² Глобализация и мультикультурализм. – Москва, 2005. С. 188.

³ Радтке Ф.О. Указ. раб. С. 107.

культурного» Запада, сознательно отказавшегося от «универсалистской» идеи Просвещения в пользу «трансформистской» («конструкция-деконструкция») идеологии, кардинально расходящейся с интересами России, если только Россия намерена сохранять свой статус субъекта мировой истории. В этом контексте насаждение в многонациональной России идеологии «мультикультурализма» в любой из его «моделей» есть прямой путь к небытию.

На фоне нынешних экономических и эносоциальных тенденций – если, конечно, они будут сохраняться – мультикультурализм уже не выглядит как конкурентоспособная идеологическая альтернатива: он не только ставит под угрозу стабильность современных европейских либеральных демократий, но и вполне способен развенчать западную «демократическую» идеологию в ее нынешнем неолиберальном понимании. Для многонациональной России – это единственно приемлемое решение проблемы.

Антропологический подход к государству имеет значение для уяснения не только образа человека, но и образа государства. В философских теориях человек определялся в самых различных ипостасях: как часть природы, как подобие Бога, как познающее существо, как социально-политический, юридический субъект, как нравственная личность, как элемент экономической, национально-государственной структуры и, наконец, как культурное существо. Важным достижением антропологического подхода к исследованию государства можно считать разрушение прежнего его «институционального образа», который строился на путях поиска его «природы» и «идеи», путем апелляции как к природному (естественному), так и «надбытийному», в частности божественному, началам.

«Современное понимание прогресса государственности, - считает А.Б. Венгеров, - выдвигает на первый план «человеческое измерение»¹, качество жизни, то положение личности, которое обеспечивает государство». Сюда относятся те условия, которые благоприятствуют развитию и реализации человеческого потенциала государства, жизненных сил общества и индивида. Благодаря им решается важнейшая задача государства – обеспечение гармоничного развития человека и его эффективного включения в процессы социализации, легитимация объединяющих ценностей отечественной культуры, определяющих стандарты социального поведения и общественного сознания. Для достижения этого необходима выработка «правильного формата» взаимодействия человека и государства.

Сегодня на смену классическому решению этого вопроса, предполагающего лишь формально-позитивистское закрепление прав и обязанностей личности со стороны государства, приходит новый, неклассический подход, высвечивающий роль государства в его взаимоотношениях с человеком, живущим в гражданском обществе. Здесь фиксируется, что не только государство определяет положение человека в обществе и человек не может существовать вне государства, но и то, что государство немыслимо без человека, наделенного определенным

¹ Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. - 3-е изд. – Москва: Юриспруденция, 2000.

статусом. Человек выступает одновременно субъектом и объектом во взаимодействии с государством, его «творцом» и его «продуктом».

Важное методологическое значение имеет исторический аспект изучения антропологии государства. Так, еще в античную эпоху Аристотель отмечал, что при исторической смене типа государственного устройства сущность человека меняется. В этом высказывании содержится идея о тесной связи человека как общественного существа с государством, в котором он рождается, живет и развивается. И здесь важно учитывать, что не только человек созидает государство, но и государственные структуры и образования формируют человека, приобретающего те или иные общественно-государственные свойства, значимые ценностные ориентации. В целом же взаимовлияние человека и государства зарождается и осуществляется в условиях определенного природно-географического и культурно-цивилизационного «ландшафта».

Анализ качества «деятельности» государства требует точных показателей, связанных со всесторонним развитием потенциала человека и общества. В этом контексте В.Э. Багдасарян справедливо считает, что «модель государственности непосредственно связана с антропологией, с моделью человека»¹. На основе этого принципа он довольно подробно анализирует роль государства в развитии человека и, наоборот, роль человека в развитии государства. По его мнению, модель современной российской государственности в плане реализации функции развития духовных потенциалов человека оценивается принципиально ниже, чем модель советской государственности и модель государственности Российской империи. Это объясняется как прагматизацией российского общества, так и формированием потребительской культуры.

В контексте изучения данной проблемы в отечественной научной литературе большое внимание уделяется анализу социокультурного, экономического, политического влияния европейских стран на исторический процесс России. Именно попытки извлечь «готовый рецепт» социального и экономического благополучия, основываясь на исходных посылах западного опыта, неоднократно приводили к кризису реализации модернизационных проектов, превращая модернизацию в «догоняющую». Стремление «традиционной России всякий раз догнать ушедшие вперед страны Запада в экономическом и военном отношении оказывались непосильной ношей для населения, приводило и приводит к непомерному, неограниченному возрастанию властно-распорядительных функций высшей власти. Возникает и становится устойчивой хорошо известная ситуация экономического, социального и культурного раскола. Такой ход развития самым негативным образом сказывается и на формате, типологических чертах российского человека как человека традиции». Исторически доказано, что институты западной либеральной демократии традиционно плохо приживаются на российской почве.

¹ Багдасарян В.Э. Модели государственности и нравственные потенциалы общества / Нравственное государство как императив государственной эволюции: материалы всерос. науч. конф., 27 мая 2011. – Москва: Научный эксперт, 2011. С. 64.

В контексте исследования перспектив развития российского общества интересной представляется концепция государства, разрабатываемая С.С. Сулакшиным. Он утверждает, что «человечество прошло этап правового и социального государства. Сегодня мы стоим на пороге нравственного государства ... сегодня мы строим нравственное государство – это императивный вызов мегаэволюции государства в истории человечества и мира... Развитие мира не остановится, нравственное государство – это неизбежное императивное будущее, новый этап государственной эволюции, человечества»¹. Действительно, идея нравственного государства как вариация «солидарного государства» все более привлекает внимание исследователей, поскольку в ней открываются гуманистические перспективы развития России и «антропологического формата новой российской государственности».

Государство, являясь сложной синергетической системой, может значительно трансформировать в процессе своего развития устаревшие и не соответствующие перспективным целям государственные институты, структуру, политические режимы, сохраняя при этом устойчивые ментальные модели мышления, правопонимания, образа жизни, которые складывались на протяжении всех культурно-исторических этапов, отражая сущность этнокультурной специфики государственного бытия. В связи с этим задачи дальнейшего исследования перспектив развития российского общества заключаются не в «отбрасывании» традиционных моделей, а в том чтобы, создавая новую, наполнить ее гуманистическим содержанием, основанным на гармоничном учете базовых антропологических констант.

¹ Сулакшин С.С. На пороге нравственного государства / Нравственное государство как императив государственной эволюции: материалы всерос. науч. конф., 27 мая 2011. - Москва: Научный эксперт, 2011. С. 14.

Заключение

Длительное время антропологический подход в комплексных междисциплинарных исследованиях государства оставался без должного внимания и осмысления. Юридическая антропология, имея корни в социальной и политической антропологии, использовалась в основном для раскрытия содержания антропологии права. Такая ее органическая часть как антропология государства длительное время оказывалась вне сферы внимания юристов, включая государствоведов. Антропологический поворот не только в правоведении, но и в государствоведении ведет к изменению круга проблем, связанных с государственным бытием человека. Все это означает, что юридическая антропология, включающая в свою структуру антропологию права и антропологию государства, становится важной составной частью теории государства и права.

Сегодня можно говорить о начале перспективных исследований в этой области, во-первых, осуществляемых этнографами, этнологами и государствоведами при изучении исторического аспекта государствогенеза в рамках междисциплинарных исследований; во-вторых, юристы и представители социально-гуманитарных наук все больше внимания уделяют анализу современных государств с учетом их антропологических и социально-культурных особенностей. Это означает не просто признание важности учета антропологических начал в современном государствоведении. Речь идет о формировании такой новой междисциплинарной области научного знания, как антропология государства. Если первоначально она выступала в форме этнографии государства, а затем этнологии государства, то в настоящее время она предстает в виде органического единства трех основных частей (этнографии, этнологии и собственно антропологии) как интегративная антропология государства.

Современная антропологическая окрашенность любого государства и права означает, что при принятии государственной (публичной) властью того или иного управленческого решения важно учитывать заложенные в его основу антропологические и культурные принципы. Поэтому выявление доминирующей антропологии и ее исходных положений становится важнейшей проблемой при решении государствоведческих задач. Именно антропология, перенесенная в государственно-правовую систему, задает мировоззренческие, методологические и аксиологические стандарты отношения к человеку.

Антропология государства как междисциплинарная область научного знания возникла на грани антропологии и теории государства и права. При этом идея человека в мире государства, в государственной действительности превращается в объект комплексных междисциплинарных исследований, а юрико-антропологическое направление становится важнейшим средством гуманизации государствоведения.

В начале XXI века все больше внимания исследователи уделяют выяснению специфики антропологических констант государства. Особое внимание уделяется при этом юридическому аспекту, позволяющему более содержатель-

но рассмотреть роль антропологических констант в развитии различных государств мира. Действительно, именно человек, в зависимости от его социально-биологической природы и уровня исторического развития, создает те или иные государственно-правовые образования.

Важную роль в функционировании и развитии государства играют в различные исторические эпохи классические морально-правовые и постклассические принципы. Они выступают в качестве тех средств, на основе которых организуется государственно-правовая жизнь и выявляется место и роль человека в государстве. На их основе дается вечный ответ на вопрос «человек для государства или государство для человека» применительно к различным культурно-историческим эпохам. Современное решение этого вопроса достигается в процессе осмысления базисных принципов антропологии государства и выяснения оптимальных вариантов учета места и роли человека в государственно-правовом управлении.

Сегодняшнее разрушение оснований государства свидетельствует о кризисе человеческой природы, а также о надвигающейся глобальной антропологической катастрофе. В условиях глобализации возрастает значимость в государственном управлении учета человеческого фактора. Это должно поддерживаться его заботой о качестве человеческого потенциала на общегосударственном, региональном и местном уровнях.

Таким образом, государство не может быть адекватно понято без его центрального звена – человека. Именно человек и его социально-биологическая природа, а также порождаемая им культура приводят к расцвету или распаду отдельных государств в ходе истории. Об этом свидетельствует вся история изучения взаимодействия человека и государства. Антропология государства как новая область междисциплинарных исследований обладает большими эвристическими возможностями как для собственного внутреннего развития, так и для оказания позитивного влияния на другие смежные области научного знания.

Библиографический список

1. Абелес М. Политическая антропология: новые задачи, новые цели // Международный журнал социальных наук. 1998. Т. VI. № 20. С. 27-44.
2. Аристотель. Политика / Сочинения: в 4-х т. – Москва: Наука, 1983. Т. 4. - 501 с.
3. Антропологическое измерение российского государства / отв. ред. В.Н. Шевченко. – Москва: ИФ РАН, 2009. - 214 с.
4. Бабаджанян К.А. Три модели взаимоотношений личности и государства // Правовая культура. 2012. № 2(13). С. 103-109.
5. Бердяев Н.А. Царство Духа и царство кесаря. – Москва: Республика, 1995. - 312 с.
6. Бердяев Н.А. Судьба России. Самопознание. – Ростов-на-Дону, 1997. - 544 с.
7. Венгеров А.Б. Теория государства и права. - 3-е изд. – Москва, 2000. - 346 с.
8. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – Москва, 1990. - 457 с.
9. Гоббс Т. Сочинения: в 2-х т. – Москва: Наука, 1991. Т. 2. - 311 с.
10. «Город» и «деревня» в свете мир-системного анализа: концептуальная реконструкция: монография / Е.Л. Антонова, А.Е. Таранова, В.Г. Туркина. – Белгород: БГИИК, 2014. - 168 с.
11. Замараева Е.И., Шишкова А.В. Евразийская концепция управления российским государством: монография. – Москва: ГУУ, 2014. - 138 с.
12. Затонский В.А. Государство и личность в системе государственности (к вопросу о содержании базовых категорий теории государства и права) // Государство и право. 2007. № 10. С. 5-12.
13. Ильин И. О путях России / Русская идея: в кругу писателей и мыслителей русского зарубежья: в 2-х т. / сост. В.М. Пискунов. – Москва: Искусство, 1994. Т. 1.
14. Исаев И.А. Государственный интерес и государственное управление // История государства и права. 2014. № 9. С. 41-49.
15. История и методология юридической науки: учебник для вузов / И.Ю. Алексеева, Ю.А. Денисов, И.И. Еремина [и др.]; под ред. Ю.А. Денисова, И.Л. Честнова. – Санкт-Петербург: ИВЭСЭП, 2014. - 560 с.
16. Капитонов С.А. Конституция как средство обеспечения юридической соразмерности государственного устройства // Вестник Томского государственного университета. Право. 2012. № 3(5). С. 34-38.
17. Керимов А.Д. Государственная организация общественной жизнедеятельности: вопросы теории: монография. – Москва: Норма: Инфра-М, 2014. - 255 с.
18. Кларк Дж. Реконструкция нации, государства и благосостояния: трансформация государств благосостояния // Журнал исследований социальной политики. 2012. № 4. С. 439-456.
19. Корзенков В.Н. Понятие государственности. Государственность республики как субъекта федерации // Право и политика. 2008. № 5(101). С. 1044-1047.

20. Культурные локусы «города» и «деревни» в свете мир-системного анализа: монография / Е.Л. Антонова, А.Е. Таранова, В.Г. Туркина. – Прага: Sociosfera, 2016. – 165 с.
21. Левакин В.И. Современная российская государственность: проблемы переходного периода // Государство и право. 2003. № 1. С. 5-12.
22. Локк Дж. Сочинения: в 3-х т. – Москва: Наука, 1988. Т. 3. – 422 с.
23. Лысов С.И., Нифантьев С.Ю. Государственный эгоизм: постановка проблемы // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 26. (381). Философия. Социология. Культурология. Вып. 38. С. 24-28.
24. Мордовец А.С. Человеческое измерение как условие развития и укрепления национальной безопасности // Вестник Саратовской государственной юридической академии. Дополнительный выпуск (85). 2012. С. 17-26.
25. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Москва: Наука, 1988. Т. 25. Ч. 1. – 587 с.
26. Нерсисянц В.С. Философия права Гегеля. – Москва: Наука, 1998. – 564 с.
27. Понятие государства в четырех языках: сборник статей / под ред. О. Хархордина. – Санкт-Петербург; Москва: Европейский университет, 2002. – 218 с.
28. Попов Е.А. Понятие государства как ценностно-смысловой системы в философии права и философии государственности // ВВ: Вопросы права и политики. 2013. № 2. С. 193-217.
29. Право и закон: история, теория, практика: монография / под ред. С.Г. Киселева. – Москва: МАКС Пресс, 2015.
30. Проблемы общей теории права и государства: учебник / под общ. ред. В.С. Нерсисянца. – 2-е изд., пересмотр. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2016. – 816 с.
31. Пучков О.А., Кабиров А.Р. Развитие теории государства и права на современном этапе: проблемы и перспективы // Правовое государство: теория и практика. 2013. № 4. С. 26-33.
32. Современное государство, социум, человек: российская специфика / отв. ред. В.Н. Шевченко. – Москва: ИФ РАН, 2010. – 243 с.
33. Скальник П. Концепция раннего государства в антропологической теории / Политическая антропология традиционных и современных обществ: материалы международной конференции. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2012.
34. Соколовский С.В. Дисциплинарная структура российской антропологии и развитие новых направлений / Феномен междисциплинарности в отечественной этнологии / отв. ред. и сост. Г.А. Комаров. – Москва: ИЭА РАН, 2016.
35. Спиридонова В.И. Эволюция идеи государства в западной и российской социально-философской мысли. – Москва: ИФРАН, 2008. – 243 с.
36. Степанова А.А. Значение национального фактора в государственном устройстве России // Вестник СВФУ. 2014. Т. 11. № 3. С. 125-130.
37. Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе (правовой аспект). – Москва: Юриспруденция, 2015. – 192 с.
38. Тихомиров Ю.А. Государство: монография. – Москва: Норма: Инфра-М, 2015. – 320 с.

39. Философия права и ответственность государства: монография / под ред. С.И. Дудника, И.Д. Осипова. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2012. – 382 с.
40. Фукуяма Ф. Конец истории // Вопросы философии. 1989. № 4.
41. Фурсов А. Колокола истории (капиталистическая эпоха в одном отдельно взятом Зазеркалье) // Рубежи. 1996. № 6. С. 2-18.
42. Хвостова К.В., Финн В.К. Гносеологические и логические проблемы исторической науки. – Москва: Наука, 1995.
43. Хорос В.Г. В поисках ключа к прошлому и будущему (Размышление в связи с книгой А.С. Ахиезера) // Вопросы философии. 1993. № 5. С. 99-110.
44. Цимбаева Е.Н. «Гендер» как категория исторического анализа // Вестник Московского университета. 1999. № 3. С. 130-141.
45. Черненко А.М. Российская революционная эмиграция в Америке (конец XIX в. – 1917 г.). – Киев: Выща школа, 1989. – 201 с.
46. Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. XIX в. – Ленинград, 1978.
47. Чернуха В.Г. Совет министров в 1861-1882 гг. / Вспомогательные исторические дисциплины. – Ленинград, 1978.
48. Чесовская М.Г. Проблемы формирования и развития российского абсолютизма XVIII-XIX веков в современном американском и британском российедении: теоретико-методологический аспект: монография. – Белгород: БелЮИ МВД России, 2013. – 279 с.
49. Честнов И.Л. Природа и этапы развития государственности // Известия высших учебных заведений. 1998. № 3. С. 35-47.
50. Чистозвонов А.Н. Генезис капитализма: проблемы методологии. – Москва: Наука, 1985. – 300 с.
51. Чичерин Б.Н. Россия накануне двадцатого столетия. – Берлин, 1900.
52. Чичерин Б.Н. Собственность и государство. – Москва, 1882.
53. Шаповалов В. Россиеведение как комплексная научная дисциплина // Общественные науки и современность. 1994. № 2. С. 37-56.
54. Шаповалов В. Россиеведение как наука // Свободная мысль. 1994. №№ 7, 8.
55. Шарифжанов И.И. Современная английская буржуазная историография: проблемы теории и метода. – Москва, 1984.
56. Шаховская З. О «либералах» (о деятельности либералов «второй волны») // Слово. 1991. № 4. С. 23-24.
57. Шебунин А.Н. Европейская контрреволюция в первой половине XIX в. – Ленинград, 1925.
58. Шевырин В.М. Судебная система России в 1864-1917 гг. / История судебных учреждений России: сборник обзоров и рефератов. – Москва: ИНИОН РАН, 2004.
59. Шевченко В.Н. Глобализация и судьба российской государственности // Личность. Культура. Общество. 2004. Вып. 4(24). С. 211-218.
60. Шепелев Л.Е. Чиновный мир России в XVIII – начале XX века. – Санкт-Петербург, 1999.

61. Шмитт К. Государство: право и политика / пер. с нем. О.В. Кильдюшова; сост. В.В. Анашвили, О.В. Кильдюшов. – Москва: Территория будущего, 2013. – 448 с.
62. Штранге М.М. Русское общество и Французская революция 1789-1794 гг. – Москва, 1956.
63. Шумилов М.М. Местное управление и центральная власть в России в 50-начале 80-х гг. XIX века. – Москва, 1991.
64. Щетинина Г.И., Чичерин Б.Н. Проблема исторического времени в истории России XIX – начала XX в. / Россия в XX веке. Историки мира спорят / отв. ред. И.Д. Ковальченко. – Москва, 1994.
65. Щетинина Г.И. Интеллигенция, революция, самодержавие (освещение проблемы в американской буржуазной историографии) // История СССР. 1970. № 6. С. 154-162.
66. Щукин В.Г. На заре русского западничества // Вопросы философии. 1997. № 7-8. С. 135-149.
67. Эдельман О. Следствие и суд в дореформенной России // Отечественные записки. 2003. № 2. С. 188-185.
68. Эйдельман Н.Я. Мемуары Екатерины II – одна из раскрытых тайн самодержавия // Вопросы истории. 1968. № 1. С. 149-161.
69. Эйдельман Н.Я. «Революция сверху» в России (заметки историка) // Наука и жизнь. 1988. № 10-12; 1989. № 1-3.
70. Эйдельман Н.Я. Из потаенной истории России XVIII-XIX веков. – Санкт-Петербург-Москва: Высшая школа, 1993. – 490 с.
71. Яцунский В. Изучение истории СССР в Калифорнийском университете в США // Вопросы истории. 1945. № 5-6. С. 186-200.
72. Fleron Fr. Comparative Politics and Lessons for the Present. Harriman Institute Forum. – New York, 1992.
73. Holquist P. Making war, forging revolution: Russia's continuum of crisis, 1914-1921. – Cambridge, 2002.
74. Neuberger J. Hooliganism: Crime, Culture and Power in St. Petersburg, 1900-1914. – Berkeley: University of California, 1993. Constructing Russian Culture in the Age of Revolution: 1881-1940 / ed. by Shepherd D. – New York: Oxford University Press, 1998.
75. Pipes R. The Russian Revolution. – New York, 1990; Rec.: Питер Кинез. The Prosecution of Soviet History: A Critique of Richard Pipes' «The Russian Revolution» // R.R. 1991. Vol. 50. July. № 3. P. 345-351.
76. Russia's Orient: Imperial Borderlands and People, 1700-1917 / ed. by D.R. Brower, ed. J. Lazzeriny. – Bloomington: Indiana University Press, 1997.
77. Sajo A. Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism. – Budapest: Central Europe University Press, 1999.
78. Slezkine Y. Arctic Mirrors: Ruusia and the Small People's of the North. – Berkeley: University of California, 1994.
79. Stone L. The Past and the Present Revisited. – London, 1987.
80. The structure of Soviet history: Essays and documents / ed. by R.G. Suny. – New York, 2003.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Чесовская Марина Георгиевна,
кандидат исторических наук, доцент;
Таранова Александра Евгеньевна,
кандидат социологических наук, доцент

**ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ И ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ**

Монография

Редактор
Комп. верстка

Е.А. Олейникова
И.Ю. Чернышева

Подписано в печать	2017, 6,25 уч.-изд. л., бумага офсетная, печать трафаретная.
Тираж	экз. Заказ №

Отпечатано в отделении полиграфической и оперативной печати
Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина
г. Белгород, ул. Горького, 71

